

Записки следователя

Автор:

Лев Шейнин

Записки следователя

Лев Романович Шейнин

Сергей Вадимович Чертопруд

Профессия – следователь

В 1921 году пятнадцатилетний журналист провинциальной газеты Лев Шейнин поступил в московский Высший литературно-художественный институт. Но в феврале 1923 года по комсомольскому распределению был направлен на работу в Прокуратуру СССР. В 1927 году в газете «Известия» был опубликован первый рассказ Льва Шейнина «Суд идет». Со временем автор стал одним из самых опытных и толковых советских следователей, совмещая раскрытие преступлений и литературное творчество. Большинство рассказов, опубликованных в данном сборнике, автор написал с 1927 по 1941 год. В них он рассказал о необычных преступлениях совершенных в этот период.

Лев Шейнин

Записки следователя

Рассказ о себе

Каждый писатель приходит в литературу своим путем, Моя литературная судьба сложилась за следовательским столом.

И сегодня, 25 марта 1956 года, когда мне стукнуло, увы, пятьдесят, я вспомнил о том, как все это началось.

Вспомнилась мне Москва 1923 года и тот студеный февральский день, когда меня, комсомольца, студента Высшего литературно-художественного института имени В. Я. Брюсова, зачем-то срочно вызвали в Краснопресненский райком комсомола.

Москва 1923 года, Москва моей юности, никогда не забыть мне тебя!.. Закрываю глаза и вижу твои заснеженные улицы, узенькую Тверскую с часовенкой Иверской божьей матери в Охотном ряду, редкие стонущие трамваи, сонных извозчиков на перекрестках, лошадей, медленно жующих овес в подвешенных торбах, продавщиц Моссельпрома – первого советского треста – с лотками, в форменных замысловатых шапочках с золотым шитьем, торгующих шоколадом и папиросами «Ира» (о которых говорилось, что это – «все, что осталось от старого мира»; вижу дымную чайную у Зацепского рынка, где всегда грелись розничные торговцы и студенты, извозчики и зацепские мясники, рыночные карманники и пышногрудые, румяные молочницы, дожидавшиеся своего поезда по Павелецкой линии. Вижу твои вокзалы, густо заселенные студенческие общежития, ночную длинную веселую очередь у кассы МХАТ и кинотеатр «Великий немой» на Тверском бульваре, – ведь кино и в самом деле было тогда еще немым.

Удивительное это было время, и удивительной была та Москва. В ней еще уживались рядом бурлящая Сухаревка, с ее бесконечными палатками, ларями и лавками и комсомольские клубы в бывших купеческих особняках, сверкавшие свежим лаком вывесок магазины и конторы первых нэпманов и аудитории рабфака имени Покровского на Моховой, где вчерашние токари, слесари и машинисты спешно готовились к поступлению в университет; огромная черная вывеска московского клуба анархистов на Тверской («Анархия – мать порядка»)

и замысловатая живопись в кафе «Стойло Пегаса» на углу Страстной площади, где читали очень разношерстной и не очень трезвой публике свои стихи поэты-имажинисты.

В комсомольских клубах пели «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян», изучали эсперанто на предмет максимального ускорения мировой революции путем создания единого языка для пролетариев всех стран, упорно грызли гранит науки и люто ненавидели нэпманов, которых временно пришлось допустить.

А в городе, неведь откуда и черт его знает зачем, повылезла из всех щелей всяческая нечисть – профессиональные шулеры и надменные кокотки, спекулянты с воспаленными от алчности лицами и элегантные, молчаливые торговцы живым товаром, бандиты с аристократическими замашками и бывшие аристократы, ставшие бандитами, эротоманы и просто жулики всех оттенков, масштабов и разновидностей.

Каждодневно возникали и с треском лопались какие-то темные «компании» и «анонимные акционерные общества», успевая, однако, предварительно надуть только что созданные государственные тресты, с которыми эти общества заключали договоры на всякого рода поставки и подряды. Появились первые иностранные концессии – лесные, трикотажные, карандашные.

Господа концессионеры, всевозможные Гаммеры, Петерсоны и Ван-Берги, обосновывались в Москве и Ленинграде прочно, обзаводились молоденькими содержанками, тайно скупали меха и валюту, рублевские иконы и вологодские кружева, драгоценные картины и хрусталь, потихоньку сплавляли это за границу, а попутно увлекались балетом и балеринами и вздыхали «о бедном русском народе, захваченном врасплох коммунистами, отрицающими нормальный человеческий порядок, но теперь как будто взявшимися за ум...»

Точно в назначенное время пришел я в райком, не понимая, зачем так срочно понадобился. Осипов – заведующий орготделом райкома – только загадочно ухмыльнулся в ответ на мой вопрос и сказал, что мне на него ответит Сашка Грамп, секретарь райкома.

Мы вместе прошли в кабинет Грампа, которого я, будучи членом райкома, хорошо знал.

– Здорово, Лева, – сказал Грамп. – Садись. Серьезный разговор...

Я сел против него, и он рассказал, что есть решение московского комитета комсомола о мобилизации группы старых комсомольцев на советскую работу. Меня, члена комсомола с 1919 года, включили в их число.

– Зверски нужны надежные фининспекторы и следователи, – продолжал Грамп, попыхивая огромной трубкой, которую он в глубине души терпеть не мог, но считал, что она придает ему вполне «руководящий вид». – Фининспекторы, заметь, ведают обложении нэпманов налогами, те находят к ним всякие подходы, а бюджет страдает... Понятно?

– Понятно. Только какое отношение это имеет ко мне? – неуверенно спросил я.

– Мы не можем допустить, чтобы страдал бюджет, – строго ответил Грамп и угрожающе запыхтел трубкой. – Впрочем, еще больше, чем фининспекторы, нужны следователи. В московском губсуде, оказывается, две трети следователей – беспартийные, и даже несколько человек работали следователями еще при царском режиме. Революция должна иметь своих собственных шерлок-холмсов... Понятно?

– Саша, но я не собирался стать ни фининспектором, ни следователем, – осторожно начал я. – В финансах я вообще ни черта не смыслю, а что касается Шерлока Холмса, то я помню, что он курил трубку, жил на Беккер-стрит и играл на скрипке. Кажется, он пользовался каким-то дедуктивным методом, и был у него приятель, доктор Ватсон, который всегда очень своевременно задавал ему глупые вопросы, чтобы Шерлок Холмс мог умно на них отвечать... Но главное не в этом!.. Я учусь в литературном институте, собираюсь посвятить свою жизнь литературе и...

– И дурень! – неделикатно перебил меня Грамп. – Какое дело революции до твоих чаяний единоличника? Кроме того, если ты решил посвятить себя литературе, так именно поэтому тебе надо как можно скорее стать фининспектором, а еще лучше следователем!. Сюжеты, характеры, человеческие драмы – вот где литература, чудак! Но дело даже не в этом, советской власти нужны кадры фининспекторов и следователей. Мы должны их дать. И ты один из тех, кого мы даем. И точка. И знак восклицательный. И никаких вопросительных. Куда выписывать путевку – в губфинотдел или в

губсуд?

– Ты же только что сказал, что никаких вопросительных знаков, – пытался я отшутиться. – Зачем же входить в противоречие с самим собой?

– Товарищ Шейнин, – произнес Грамп ледяным тоном. – Речь идет о мобилизации по заданию партии. Можешь до вечера думать, куда пойдешь. Потом приходи за путевкой. До вечера, Байрон!

Байроном Грамп величал меня потому, что в те годы у меня была буйная шевелюра, во что, впрочем, теперь трудно поверить, и я носил рубашку с отложным воротником.

Так я стал следователем московского губернского суда.

Скажем прямо: в наши дни трудно понять, как могли назначить следователем семнадцатилетнего паренька, не имевшего к тому же юридического образования. Но слова из песни не выкинешь, и что было, то было. Ведь происходило это в первые годы становления советского государства, когда сама жизнь торопила с выдвижением и воспитанием новых кадров во всех областях строительства нового государства. С судебно-следственными кадрами дело обстояло особенно остро. Лишь за год до этого, по инициативе В. И. Ленина, была создана советская прокуратура. На смену революционным трибуналам первых лет советское государство только что создало народные и губернские суды. Совсем недавно были введены уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, и правосудие могло опираться на закон, а не только на «революционное правосознание».

Я был огорчен мобилизацией. Я опасался, что новая работа оторвет меня от института и главное – от литературы. Тогда я еще не понимал, что для писателя лучший институт – сама жизнь и никакие другие институты в том числе и литературный, не могут ее заменить.

Не понимал я также, что в работе следователя есть много общего с писательским трудом. Ведь следователю буквально каждый день приходится сталкиваться с самыми разнообразными человеческими характерами, конфликтами, драмами. Следователь никогда не знает сегодня, какое дело выплеснет жизнь на его рабочий стол завтра. Но каково бы ни было это дело –

будет ли оно о разбое, или об убийстве из ревности, или о хищениях и взяточничестве, – за ним всегда и, прежде всего стоят люди, каждый из них со своим характером, своей судьбой, своими чувствами. Не поняв психологии этих людей, следователь не поймет преступления, которое они совершили. Не разобравшись во внутреннем мире каждого обвиняемого, в сложном, иногда удивительном стечении обстоятельств, случайностей, пороков, дурных привычек и связей, слабостей и страстей, следователь никогда не разберется в деле, в котором он разобраться обязан.

Вот почему работа следователя неизменно связана с проникновением в тайники человеческой психологии, с раскрытием человеческих характеров. Это роднит труд следователя с трудом писателя, которому тоже приходится вникать во внутренний мир своих героев, познавать их радости и несчастья, их взлеты и падения, их слабости и ошибки.

Так случайность, сделавшая меня следователем, определила мою литературную судьбу.

В числе московских следователей, как правильно сказал мне Грамп, было тогда довольно много беспартийных и среди них несколько старых, «царских», следователей, из которых мне особенно запомнился Иван Маркович Снитовский, коренастый крепыш лет за шестьдесят, украинец, с лукавым добродушным лицом и темными смеющимися глазами. Он имел за своими плечами почти тридцатилетний опыт работы судебного следователя и перед самой революцией занимал пост следователя по особо важным делам московской судебной палаты. После революции, в отличие от многих своих коллег, Иван Маркович не эмигрировал за границу. Несмотря на свое дворянское происхождение, он сразу принял революцию и поверил в нее.

Энтузиаст своего дела и глубокий его знаток, он охотно делился своим огромным опытом с молодыми товарищами, многие из которых сели за следовательский стол непосредственно от станка или пришли с партийной работы.

После моего назначения в губсуд я был прикреплен в качестве стажера к нему и еще к одному старшему следователю, Минаю Израилевичу Ласкину. Последний начал свою деятельность в качестве следователя уже после революции, в 1918 году, придя студентом в ревтрибунал.

Небольшого роста, очень живой, быстрый, находчивый, Ласкин тоже без памяти любил свою профессию и был одним из лучших следователей московского губсуда.

Президиум губсуда, не без основания несколько обеспокоенный моим возрастом, поручил этим двум следователям в течение полугода поработать со мною, чтобы выяснить, как выразился председатель губсуда, «что получится из этого рискованного эксперимента».

Когда я вошел в кабинет Снитовского (уже предупрежденного о моем приходе и прикомандировании к нему), он быстро встал и, улыбаясь, подошел ко мне.

– Ну, здравствуйте, здравствуйте, молодой человек, – произнес он, пожимая мне руку. – Чай, осьмнадцать еще не стукнуло, а?

– Скоро стукнет, – сказал я, сразу проникаясь симпатией к этому приветливому, веселому человеку со смуглым, крепким лицом, освещенным сиянием больших темных глаз.

– Ну, ну, не беда, не смущайтесь. Молодость – это недостаток, который с каждым часом проходит. Давайте присаживайтесь вот здесь, в кресле, почувствуйте себя как дома, и начнем знакомиться...

А через час, очень незаметно для меня, с самым простодушным и веселым видом, Снитовский уже узнал обо мне чуть ли не все, что можно было узнать, Только потом я оценил эту поразительную способность выяснять с необыкновенной быстротой все интересующие его вопросы, отнюдь при этом как бы и не расспрашивая, не прожигая собеседника «проницательным» взглядом, а как-то весело и непринужденно, даже не разговаривая, а болтая, смеясь и шутя и необыкновенно при этом к себе располагая.

Нужно ли говорить, что уже к концу нашего первого разговора я был по-мальчишески влюблен в этого человека, и мне отчаянно хотелось заслужить его симпатии и веру в мои молодые силы.

В тот же день я познакомился и со вторым своим шефом – Ласкиным. Оказалось, что мы с ним земляки по городу Торопцу Псковской губернии, где я провел детские годы и вступил в комсомол, и что Ласкин отлично знал и хорошо помнит

моих старших сестер, кончавших гимназию в то самое время, когда он заканчивал там же реальное училище.

Иван Маркович и Минай Израилевич отнеслись к поручению – проверить, «что получится из этого эксперимента», – с большой добросовестностью, и я многим обязан им. На стажировку мне было выделено полгода, после чего я должен был держать экзамен в аттестационной комиссии губсуда для окончательного решения своей дальнейшей следственной участи.

Может быть, благодаря тому, что я попал в очень умные и заботливые руки этих людей, сразу сумевших пробудить во мне интерес и уважение к своей профессии, и тому, что статьи уголовного и процессуального закона, которые я изучал, ежедневно оживали передо мною в лицах подсудимых, совершивших преступления, предусмотренные этими статьями, – может быть, именно поэтому я жадно впитывал все премудрости следственного искусства.

Месяца через три Иван Маркович обнял меня за плечи и очень серьезно и тихо, глядя мне прямо в глаза, сказал:

– А ну, лопни мои очи, хлопчик, если из тебя не выйдет толк... Лицея не кончал, кандидатом на судебные должности в судебной палате, аки аз грешный, не был, зеленый, как огурец, а следователем я тебя все-таки сделаю, всем правилам божеским и человеческим вопреки!. Сде-ла-ю!..

И, заметив вошедшего в кабинет Ласкина, обратился к нему:

– Минай, скажи по совести, мудрая башка, не лукавь: быть ему слидчим по наважнейшим справам, как говорят на Украине, или не быть?

– Обидный вопрос, – улыбнулся Ласкин. – Разве ты не видишь этого по мне? Он ведь торопчанин!. С тех пор как в Торопце венчался Александр Невский, у торопчан все выходит как надо...

А через полгода я держал экзамен в аттестационной комиссии губсуда, и ее председатель Дегтярев, мрачный, бородатый, очень строгий старик, безжалостно «гонял» меня по всем главам и разделам уголовного, процессуального, трудового и гражданского кодексов, сердито что-то ворча себе под нос, выслушивал мои ответы и время от времени произносил:

– Это тебе, мил-человек, не в лапту играть... А скажи-ка ты мне, орел, что такое принцип презумпции невиновности и с чем его кушают?

– Принцип презумпции невиновности в уголовном праве, – отвечал я, – подразумевает, что органы следствия и суда должны исходить из презумпции невиновности обвиняемого. Это значит, что не он обязан доказывать свою невиновность, а они обязаны, если имеют для этого достаточно данных, доказать его вину... И пока его вина не доказана в законном порядке, человек считается невиновным...

– Гм... так... это тебе, брат, не хрен с апельсином... А вот, скажи ты мне, сделай милость, как допрашивают малолетних?

– Допрос малолетних производится следователем или в присутствии их родителей, или в присутствии воспитателей, или без тех и других. Следователь должен избегать наводящих вопросов, чтобы невольно не внушить ребенку того, что рассчитывает получить в его показаниях. С другой стороны, показания детей о приметах преступника, его поведении, одежде и т. п. заслуживают особого внимания, так как дети очень наблюдательны и их восприятие внешнего мира очень свежо. Допрашивая детей, надо разговаривать с ними серьезно, как с взрослыми, а не подлаживаться под детский язык, что всегдастораживает ребенка. Если ребенок допрашивается в качестве потерпевшего, например по делу о его растлении или развращении, следователь обязан выяснять все интересующие его детали очень осторожно, чтобы самый допрос не превратился по существу в развитие этого развращения и не травмировал дополнительно ребенка...

– Гм... Дело говоришь... И вот что, милочка. На следователя мы тебя аттестуем, хоть ты и вовсе еще воробей-подлетьш... Запомни посему раз и навсегда для своей работы: спокойствие, прежде всего – это раз! Презумпцию невиновности надо не по учебнику вы зубрить, а всем сердцем понять – это два! Допрашивая человека, всегда помни, что ты делаешь привычное и хорошо знакомое тебе дело, а он может запомнить этот допрос на всю жизнь – это три! Знай, что первая версия по делу еще не всегда самая верная – это четыре! А самое главное: допрашивая воров и убийц, насильников и мошенников, никогда не забывай, что они родились на свет такими же голенькими, как мы с тобой, и еще могут стать людьми не хуже нашего... А если когда-нибудь станет тебе скучно на нашей нелегкой работе или изверишься в людях вообще, – тикай, малец,

тикай, ни дня не оставайся следователем и сразу подавай рапорт, что к дальнейшему прохождению следственной службы непригоден...

И старик Дегтярев, с его мрачным видом, старый большевик и политкаторжанин, которого все в губсуде уважали, но побаивались за острый язык, резкость суждений и непримиримость к проступкам судебных работников

(Дегтярев был, кроме того, и председателем дисциплинарной коллегии губсуда), встал из-за стола, пожал мне руку, испытующе поглядел и даже – чего я никогда еще не видал – улыбнулся.

Когда я вышел из его кабинета, то увидел Снитовского и Ласкина, беспокойно расхаживающих по коридору. Не стерпели мои дорогие шефы и оба прибежали со Столешникова переулка на Тверской бульвар, где помещался губсуд, и здесь, дожидаясь моего выхода, кляли на чем свет стоит «бороду», как называли Дегтярева, который, видно, придирается к их воспитаннику и того и гляди завалит его на экзамене.

Увидев мое взволнованное, но сияющее лицо, они сразу с облегчением вздохнули и начали наперебой расспрашивать, как долго и как именно мучил меня этот «бородатый тигр и лютый скорпион».

А «тигр» этот в последующие годы моей следственной работы, до самого перевода в Ленинград, очень внимательно следил за моей работой, потихоньку изучал все расследованные мною дела, поступавшие на рассмотрение в губсуд, и частенько приглашал меня к себе домой, поил чаем с лимоном и, с тем же мрачным и ворчливым видом, сердито покашливая в свою черную с сединой бороду, внушал все «десять заповедей» советского судебного деятеля.

Но я уже не боялся ни его мрачного вида, ни сердитого кашля, ни его бороды, хорошо поняв и на всю жизнь запомнив этого умного, доброго, прожившего чистую, но очень трудную жизнь человека.

Понимал это не один я. Когда через несколько лет Иван Тимофеевич Дегтярев умер от разрыва сердца, весь губсуд шел за его гробом, и на кладбище, стоя рядом со Снитовским и Ласкиным, я видел сквозь слезы, что искренне плачут и они и многие другие работники, среди которых было немало и тех, кого в свое время сурово «шерстил» покойный председатель дисциплинарной коллегии за

те или иные проступки.

И вспомнился мне тогда я мой проступок, за который я тоже предстал перед дисциплинарной коллегией, в страхе, что вылету за него, как пробка, со следственной работы, которую я успел горячо и на всю жизнь полюбить.

Случилась со мной эта беда в самом начале моей работы, и была она связана с делом о динарах и, как это ни странно, с «адмиралом Нельсоном». Об этом забавном и поучительном случае я написал в рассказе «Динары с дырками».

После того как я прошел аттестационную комиссию, меня назначили народным следователем в Орехово-Зуево[1 - 21 августа 1920 года Положениями о местных органах юстиции и о народном суде РСФСР от 20 октября того же года учреждаются должности народных следователей, состоящих при советах народных судей, а также следователей по важнейшим делам при губернских отделах и Наркомате юстиции. Народный следователь мог приступить к производству расследования по заявлениям граждан, сообщениям милиции, должностных лиц и учреждений, по постановлению судьи, а также по своему усмотрению. Окончательное решение о прекращении дела или предании суду принадлежало народному суду – Прим. ред.].

Полгода я прожил в этом подмосковном городке, расследуя мои первые дела: о конокрадах, растратах в потребсоюзе, об одном случае самоубийства на почве безнадежной любви и одном убийстве «по пьяному делу» на сельской свадьбе. Я старательно исполнял все «десять заповедей» следователя, преподанные мне Дегтяревым, Снитовским и Ласкиным, то есть твердо помнил, что «спокойствие прежде всего», что искусство допроса состоит не только в том, чтобы уметь спрашивать, но и в том, чтобы уметь выслушивать, что первая версия не всегда самая верная, что человек волнуется на допросе не только тогда, когда он виновен, но и тогда, когда он невиновен, и что еще Достоевский верно заметил, что так же, как из ста кроликов невозможно составить лошадь, так и из ста мелких и разрозненных улик невозможно сложить веское доказательство виновности подследственного.

Через полгода меня неожиданно перевели в Москву, и я снова был прикреплен к следственной части губсуда. А через несколько дней я допустил свою первую ошибку, стоившую мне немало волнений. Связана она была с делом ювелира Высоцкого.

Весна 1924 года была очень слякотной, а жил я тогда в Замоскворечье, на Зацепе, откуда ежедневно ездил в Столешников переулок на работу. Я решил обзавестись новыми калошами и как-то приобрел в магазине «Проводник» великолепную пару на красной, едва ли не плюшевой, подкладке, называвшиеся почему-то «генеральскими».

И вот однажды, очень довольный своим новым приобретением, я приехал на работу и поставил свои великолепные, сверкавшие лаком и мефистофельской подкладкой калоши в угол комнаты. Сев за стол в своем маленьком кабинете, я стал заниматься делом, время от времени бросая довольные взгляды на свое роскошное, как мне казалось, приобретение.

Снитовский в то время вел среди других дел и дело о ювелире Высоцком, о котором имелись данные, что он скупает бриллианты для одного иностранного концессионера и участвует в контрабандной переправе этих бриллиантов за границу. Снитовский потратил много труда на то, чтобы собрать доказательства о преступной деятельности этого очень ловкого человека и его связях; наконец, набралось достаточно данных для того, чтобы принять решение об его аресте. Занятый рядом других дел, Иван Маркович поручил мне вызвать Высоцкого, допросить его и объявить ему постановление об аресте, после чего отправить в тюрьму.

Высоцкий был вызван, явился в точно назначенное время, и я стал его допрашивать. Это был человек лет сорока, очень элегантный и немного фатоватый, с золотыми зубами и сладенькой улыбочкой, которую, похоже было, раз наклеив, он так и не снимал со своего лица и даже, возможно, ложился с нею спать.

Он очень любил светские, как ему казалось, обороты речи и через два часа страшно надоел мне своими «позволю себе обратить ваше внимание», «если мне будет позволено», «отнюдь не желая утомлять вас, я просил бы, тем не менее и однако», «учесть, если вас не затруднит».

Окончив допрос и предъявив Высоцкому постановление об аресте в порядке статьи 145 УПК, разрешавшей в исключительных случаях арестовывать подозреваемых без предъявления обвинения, но на срок не более чем на четырнадцать суток, я стал терпеливо выслушивать его заявления, что он «абсолютно афропирован», находится «в совершеннейшем смятении» и рассматривает случившееся как крайнее, «если позволите быть откровенным,

недоразумение», которое, как он «всеми фибрами души надеется, вскоре разъяснится».

При всем том этот довольно бывалый и ловкий проходимец оставался абсолютно спокойным, видимо рассчитывая, что ему и впрямь удастся вывернуться из дела, тем более что, по совету Снитовского, я ему еще не выложил всех доказательств, почему, собственно, предъявление обвинения и было нарочито отложено.

Дав Высоцкому расписаться в том, что постановление о мере пресечения ему объявлено, я оставил его в кабинете, предварительно заперев в сейф дело, и вышел, чтобы поручить старшему секретарю следственной части вызвать конвой и тюремную карету. Старший секретарь, когда я вошел в канцелярию, был мною обнаружен стоящим на высоком подоконнике и дико кричащим оттого, что по канцелярии бегала крыса. Его вопли меня рассмешили, хотя крыс я тоже очень не люблю, и я стал его успокаивать.

Пока крыса не юркнула в дыру, секретарь не успокаивался, и мне пришлось ему довольно долго растолковывать, что надо сделать.

Нетрудно вообразить себе мое состояние, когда, вернувшись в кабинет, я не обнаружил ни Высоцкого, ни моих новых калош...

Зато на моем столе лежал лист бумаги, на котором рукою Высоцкого было размашисто написано: «Надеюсь, что вы будете далеки от мысли, уважаемый следователь, что я, человек интеллигентный, украл ваши калоши. Нет, я просто взял их взаймы, так как на дворе очень сыро, а мне предстоит, не без вашей вины, большой путь... Привет! Высоцкий».

Я в ужасе бросился к Снитовскому.

Едва взглянув на записку, Иван Маркович, мгновенно сообразив, что надо делать, поднял трубку телефона и позвонил в МУР. Дело в том, что Снитовским была установлена фамилия любовницы Высоцкого, и тот не знал, что следствию уже известна его связь с нею. Снитовский дал указание МУРу установить наблюдение за квартирой этой женщины, верно решив, что Высоцкий, прежде чем скрыться из Москвы, не преминет проститься со своей возлюбленной, наличие которой он, кстати, будучи человеком семейным, тщательно скрывал.

Лишь дав все необходимые указания, Снитовский обратился ко мне.

– Вот что, Левушка, – сказал он, – я уверен, что этого прохвоста задержат, но пусть эта печальная история с калошами запомнится вам как символ того, что следователю не к лицу самому садиться в калошу...

Я не мог найти себе места от конфуза и успокоился только вечером, когда агенты МУРа доставили задержанного ими Высоцкого, который, как и предвидел Снитовский, зашел к своей возлюбленной. Высоцкий, опять-таки не теряя спокойствия, снял в кабинете мои калоши, галантно сказав при этом: «Пардон, но было очень сыро, а я этого, с вашего позволения, совершенно не переносу, еще раз – миль пардон!»

В Москве я проработал до 1927 года, а затем был назначен старшим следователем Ленинградского областного суда.

Через три года я был снова переведен в Москву и назначен следователем по важнейшим делам, а затем, в 1935 году, – начальником Следственного отдела Прокуратуры СССР, где и проработал до 1 января 1950 года, когда полностью перешел на литературную работу.

Таким образом, двадцать семь лет своей жизни я отдал расследованию всякого рода уголовных дел. Естественно, что это и определило характер моей литературной работы, которую я начал в 1928 году, опубликовав в журнале «Суд идет!» свой первый рассказ – «Карьера Кирилла Лавриненко».

Этим рассказом я и начал свои «Записки следователя», которые в последующие годы печатались на страницах «Правды», «Известий» и ряда журналов. В 1938 году в издательстве «Советский писатель» они вышли отдельной книгой. Вся первая книга «Записок следователя» писалась в сутолоке оперативной работы, в горячке уголовных происшествий, в которых приходилось срочно разбираться. Естественно, что некоторые рассказы и очерки писались бегло, в часы досуга, такого бедного в те годы. Теперь я, конечно, многие из них написал бы иначе, но тогда я был лишен такой возможности.

Готовя к изданию эту книгу^[2] – Речь идет о сборнике «Старый знакомый», который был издан в 1957 году и специально для которого был написан «Рассказ

о себе» – Прим. ред.], я сначала хотел было заново переписать некоторые старые рассказы, но потом почувствовал неодолимое желание сохранить их в таком виде, в каком в свое время они были написаны и опубликованы. Право, мне трудно объяснить, как и почему родилось это желание! Может быть, оно явилось подсознательным стремлением сохранить нетронутыми эти первые плоды моей физической и литературной молодости со всеми ее радостями и горестями, открытиями и ошибками?

Может быть, здесь играет свою роль тоже подсознательное опасение «вспугнуть» правдивость этих рассказов шлифовкой литературного стиля и углублением психологических зарисовок? А может быть, я боюсь признаться самому себе в том, что, сохраняя в нетронutom виде свои ранние рассказы рядом с другими, написанными более зрело, я вижу яснее пройденный мною литературный путь?

А может быть, и то, и другое, и третье... Может быть.

Словом, я сохранил в этой книге все рассказы и очерки в том виде, в каком они родились. Я лишь указываю дату написания каждого из них. И, наконец, фамилии тех обвиняемых, которые давно отбыли наказание за совершенные ими преступления и многие из которых вернулись к честной, трудовой жизни, я, по понятным мотивам, заменил, потому что от души желаю этим людям добра и счастья и не хочу затемнять его напоминанием того, что давно отошло в прошлое и принадлежит ему.

В борьбе с уголовной преступностью тех лет родились и новые методы «перековки» профессиональных преступников и их возвращения к трудовой жизни.

За годы своей работы криминалиста я понял, что обращение к добрым началам в душе всякого человека, в том числе и преступника, почти всегда находит отклик. Я понял, что следователь, если он не вступит в психологический контакт с обвиняемым, никогда не поставит точного диагноза преступлению, подобно тому, как врач, не добившийся контакта со своим пациентом, не поставит диагноза болезни. Так после многих лет наблюдений родилась теория психологического контакта, которую я назвал «ставкой на доверие». Разумеется, я пришел к этим выводам и сформулировал этот термин не сразу. Разумеется, я опирался при этом не только на собственный следственный опыт, но и на опыт моих товарищей по работе, таких же криминалистов, как и я. Имена многих из

них читатель встретит в «Записках следователя», и я считаю себя обязанным выразить им свою братскую признательность за многое, что они помогли мне открыть и чему научили меня с первых лет моей следственной работы.

Я убежден, что ставка на доверие оправдывает себя во всех областях нашей общественной жизни, как убежден в том, что она является сама по себе очень действенной формой воспитания.

Крупнейший русский судебный деятель, академик А. Ф. Кони, касаясь в своей работе о Достоевском романа «Преступление и наказание», писал:

«Созданные им в этом романе образы не умрут по художественной силе своей.

Они не умрут и как пример благородного высокого умения находить «душу живу» под самой грубой, мрачной, обезображенной формой – и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом, показывать в ней то тихо тлеющую, то ярко горящую примирительным светом – искру...»

Эти замечательные слова одного из самых видных криминалистов России приобретают особое значение в наши дни, в условиях нашего социалистического государства.

В самые трудные годы самой острой борьбы с внутренней контрреволюцией Ф. Э. Дзержинский находил время и желание заниматься организацией деткоммун и трудовых колоний, ликвидацией детской беспризорности и установлением системы трудового перевоспитания в местах заключения.

Эти грандиозные социально-психологические задачи породили такие выдающиеся произведения советской литературы, как книги А. Макаренко, прогремевшие, без всякого преувеличения, на весь мир и вызвавшие самый почтительный интерес и признание даже со стороны буржуазных литературоведов, педагогов и криминалистов. О том, какие поразительные результаты давало иногда перевоспитание бывших преступников, в особенности молодых, не раз с восхищением и гордостью за нашу страну писал Горький.

Теперь, оглядываясь назад, на пройденный мною жизненный путь, я вспоминаю все, что мне удалось увидеть, услышать и понять за следовательским столом и что так помогло мне сложиться как писателю. Я вспоминаю о годах своей работы криминалиста с нежной признательностью, потому что обязан им как писатель, обязан темами ряда своих произведений, многими сюжетами, наблюдениями, характерами и конфликтами, которые я наблюдал и в которых мне приходилось разбираться.

В числе этих многих тем самой близкой и дорогой мне темой является проблема возвращения человека, совершившего преступление, к честной, трудовой жизни. Я убежден, что и человеку, совершившему преступление, пока он еще дышит, видит и думает, никогда не поздно в условиях нашего общества вернуться в нашу большую, дружную и светлую советскую семью, если только умело и вовремя ему в этом помочь.

И если мои записки следователя окажутся одной из форм такой помощи, с одной стороны, а мои читатели согласятся с моим убеждением – с другой, я буду счастлив сознанием, что не напрасно вступил на трудный, но радостный путь писателя.

Последний из могикан

Больше года тому назад скончался от брюшного тифа молодой талантливый инженер, технический директор одного из московских авиазаводов А. Я. Соскин. Общественность завода окружила родителей покойного вниманием, теплым сочувствием, оказала им моральную и материальную поддержку.

Завод возбудил ходатайство о пенсии, и это ходатайство было удовлетворено. Директор завода нашел и нужные слова соболезнования, и время для того, чтобы навестить растерявшихся от горя стариков.

И, может быть, единственным их утешением было сознание того, что они не так уж одиноки, что их горе разделяет многотысячный заводской коллектив, что их мальчик, их Алексей, сумел заслужить любовь и уважение своих товарищей по работе.

Но старики были окончательно ошеломлены и растроганы, когда по прошествии больше чем года после смерти их сына, в десятых числах декабря, к ним позвонил на квартиру секретарь Малого Совнаркома Белов. Назвав себя, Белов в самой чуткой и соболезнующей форме справился о самочувствии стариков и поинтересовался суммой определенной для них пенсии. Мать покойного расплакалась, сказала, что она удовлетворена и не ищет большего, но что никакая пенсия не может умалить ее горя. Белов в самых изысканных выражениях успокаивал старушку, говоря, что понимает ее состояние, а затем добавил:

– И все же, Елизавета Львовна, Совнарком считает, что назначенная вам пенсия недостаточна. Ценю вашу скромность, но не могу с вами согласиться. Нет, нет, не спорьте. Мы решили пересмотреть этот вопрос. Слишком велики заслуги покойного. Завтра я вам позвоню снова, пришлю за вами машину и попрошу вас приехать на заседание Совнаркома.

Весь вечер старики говорили о случившемся. Они были поражены и взволнованы и никак не могли понять, почему этот вопрос возник в Совнаркоме почти через полтора года после смерти сына и без всякого с их стороны заявления.

На следующий день внимательный товарищ Белов позвонил снова. Все тем же тихим грудным голосом поздоровался он с Елизаветой Львовной и сообщил, что заседание Малого Совнаркома перенесено.

– А пока, Елизавета Львовна, – продолжал он, – мы решили обеспечить вас продуктами. Дано указание нашей товарной базе об отпуске вам всего необходимого по твердым ценам. Пожалуйста, не стесняйтесь, не будьте слишком щепетильны. Из базы вам позвонят.

И действительно, через час позвонил какой-то человек и, назвавшись заведующим товарной базой Совнаркома, сообщил, что им получено распоряжение о снабжении семьи покойного всем необходимым. Он просил сделать заказ по телефону.

Заведующий оказался еще более предупредительным, чем Белов. Тут же, не отходя от телефона, он уговорил Елизавету Львовну сделать заказ на всевозможные продукты – от мяса до яиц включительно, тут же называл ей фантастически дешевые, сверхтвердые цены этих продуктов, и когда вконец

растерявшаяся старушка заявила, что больше ей ничего не надо, то он с трогательной настойчивостью умолял ее заказать еще какао и шоколад.

Приняв заказ, он сказал, что скоро позвонит, когда и куда приехать за продуктами.

Однако после этого разговора у Елизаветы Львовны родились какие-то неясные сомнения. И, будучи близким мне человеком, она позвонила по телефону и рассказала мне о странных происшествиях последних дней, о Белове и о добряке заведующем, предлагающем какао и шоколад. Я сразу сказал ей, что здесь имеет место или очень циничное хулиганство, или афера, и решил выяснить это дело. Прежде всего, я позвонил в комиссию персональных пенсий СНК и сразу установил, что фамилия Белова пользуется там печальной популярностью. Мне рассказали, что в последнее время какой-то Белов звонит семьям погибших заслуженных товарищей, мистифицирует их, говорит от имени Совнаркома, обещает какие-то продукты по твердым ценам, и когда поверившие ему лица приходят в назначенное место за этими продуктами, то он просто-напросто отбирает у них деньги и скрывается.

Я позвонил заместителю начальника МУРа, который командировал на квартиру Соскиных сотрудника угрозыска. Как раз когда он приехал, снова раздался телефонный звонок и «заведующий базой» сообщил Елизавете Львовне, что продукты приготовлены и он просит ее приехать за ними в Андроньевский переулок, где будет ее поджидать у ворот такого-то дома.

Вместо Елизаветы Львовны поехал сотрудник, который быстро обнаружил в указанном месте элегантную фигуру пожилого человека, весьма задумчиво расхаживавшего у ворот условленного дома.

– Здравствуйте, Леонид Яковлевич, – приветливо обратился к нему сотрудник, – не меня ли вы поджидаете? Я тоже давно вас ищу.

Вечером я беседовал с задержанным жуликом, оказавшимся Леонидом Яковлевичем Иноземцевым, пятидесяти восьми лет, имеющим семь судимостей за мошенничество.

Передо мной сидел прилично одетый тихий человек. Его лицо дышало тем чрезмерным благородством, которое всегда возбуждает подозрение. Венчик

седых кудрей обрамлял его полысевшую голову, губы пресыщено отвисали, длинный унылый нос говорил о склонности к легкой грусти и размышлениям.

Леонид Яковлевич оказался человеком с солидным образованием, бывшим гусаром и лингвистом. Он свободно владел английским, немецким и французским языками. Но еще с юных лет его влекло к аферам.

– Странный у меня характер, – охотно рассказывал он мне, задумчиво выпячивая нижнюю губу, – не люблю, знаете, работать. Тянет к мошенничеству. Не буду скромничать, у меня немалые в сей области стаж и квалификация. Начал еще до революции, но тогда так, больше для забавы.

Например, в тысяча девятьсот девятом году, будучи студентом Высшего технического училища, решил как-то летом пошутить. Звоню, знаете, приставу Петровско-Разумовской части Пшедецкому и говорю: «Господин пристав! С вами говорит комендант Большого Кремлевского дворца князь Одоевский-Маслов». – «Слушаю, ваше сиятельство. Рад служить». – «Господин пристав, предупреждаю вас: в Петровско-Разумовское поехал инкогнито великий князь Иван Константинович. Одет в студенческую тужурку. Вы там смотрите, чтобы не вышло чего – головой отвечаете!» – «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство». Ну, и поехал. Только сошел с паровичка, за мной двое в штатском идут. Потом к ним присоединяется пристав. Иду, не обращаю внимания. Стал у пруда. Любуюсь природой. Подходит пристав. «Скажите, говорит, молодой человек, как нравится вам наша природа?» – «Да, отвечаю, нравится». – «А не угодно ли, спрашивает, на лодочке по пруду покататься? Уж очень вы мне как-то симпатичны!» – «Угодно, говорю, угодно». Сразу меня, знаете, посадили в лодку, пристав лично за весла взялся – и ну катать. Потом пригласил меня обедать. Пошел. Прекрасный, знаете, обед закатил. С шампанским. А потом и говорит: «Люблю, говорит, студентов, ваше высочество... люблю...» После обеда выстроил всех городских, устроил в мою честь парад... Честное слово!!!

Мечтательно закатив глаза. Иноземцев продолжал рассказывать:

– ...Да, знаете, было времечко!. Молод я был, любил позабавиться. Помню, раз, гусаром уже будучи, полковником наряжился. А потом и пошло. Революция. Тут еще у меня семейная драма произошла. Женат я был. Жена очень меня ревновала; я действительно кутилой был ужасным. И вот однажды пришел домой, а она вошла с бокалом, наполненным какой-то жидкостью... «Пью, говорит, Леонид Яковлевич, ваше здоровье!» И выпила залпом, Оказалось, что в

бокале сулема. Через два часа скончалась... Ну, а потом совсем опустился. Пьянство, женщины, кутежи.

Денег не стало. Решил применить юношеские способности...

– А откуда, Леонид Яковлевич, вы доставали адреса пенсионеров?

– Из газет. Аккуратно, знаете, делал вырезки похоронных объявлений. Если завком и ячейка сочувствие выразили, сейчас же вырезочку делаю. Полгода, год выжду и звоню. Большею частью удавалось. Человек у сорока деньги взял. Учел я, знаете, что население у нас привыкает к чуткости. Ну, вот и играл на этом...

И Леонид Яковлевич продолжал рассказывать. Он знал десятки способов обмана, вымогательства, шантажа. Он привозил посылки с фруктами от родственников из Крыма, обещал пенсии, советовал академикам вступать в какие-то группы по самозаготовкам, передавал приветы от родных и проделывал многое другое.

До трех тысяч в месяц зарабатывал предприимчивый гусар и сравнительно удачно ускользал от ответственности – всего семь судимостей после революции.

Продолжая рассказывать, этот представитель вымирающего племени «кукольников», шулеров и мошенников-профессионалов, этот последний из могикан с грустью произнес:

– ...Но должен сказать вам прямо: стар уже стал, уставать начал. Пора на отдых. Да и тяжело работать стало. Публика не та, что прежде... Угрозыск покою не дает!

И он недружелюбно покосился на сидевшего тут же сотрудника МУРа.

Волчья стая

В начале 1928 года, в ту пору, когда я был переведен в Ленинград, там была довольно значительная преступность, и ленинградские следователи были завалены всевозможными делами. В городе неистовствовал нэп. Он отличался от

московского нэпа прежде всего самими нэпманами, которые здесь в большинстве своем были представителями дореволюционной коммерческой знати и были тесно связаны с еще сохранившимися обломками столичной аристократии. Ленинградские нэпманы охотно женились на невестах с княжескими и графскими титулами и в своем образе жизни и манерах всячески подражали старому петербургскому «свету».

Нэпманы нередко обманывали руководителей государственных трестов и предприятий, с которыми они заключали всевозможные договоры и соглашения. Стремясь разложить тех советских работников, с которыми они имели дело, нэпманы старались пробудить в них стремления к «легкой жизни», действуя подкупом и всякого рода мелкими услугами, угощениями и «подарками». А соблазнов было много.

В знаменитом Владимирском клубе[3 - Владимирский игорный клуб (проспект С. М. Нахимсона (сейчас Владимирский проспект д. 12). был самым роскошным и известным храмом азарта в городе. Он размещался в так называемом «Доме Корсаковых», где с 1860 г. находился Купеческий клуб. Как писал журналист Н.П. Полетика: «В дни получек жены рабочих дежурили у пивных, стараясь отобрать у мужей хоть часть получки, жены служащих собирались у Владимирского клуба. Всезнающие репортеры «Ленинградской правды» и «Красной газеты» говорили, что за каждым крупным кассиром установлено наблюдение уголовного розыска и о каждом крупном проигрыше агенты розыска, сидевшие в качестве «игроков» в игорных залах, сообщают начальникам учреждений и предприятий для проведения внезапной ревизии кассы» - Прим. ред.], занимавшем роскошный дом с колоннами на проспекте Нахимсона, функционировало фешенебельное казино с лощеными крупье в смокингах и дорогими коготками. Знаменитый до революции ресторатор Федоров, великан с лицом, напоминавшим выставочную тыкву, вновь открыл свой ресторан и демонстрировал в нем чудеса кулинарии. С ним конкурировали всевозможные «Сан-Суси», «Италия», «Слон», «Палермо», «Квисисана», «Забвение» и «Услада».

По вечерам открывался в огромных подвалах «Европейской гостиницы» и бушевал до рассвета знаменитый «Бар», с его трехэтажным, лишенным внутренних перекрытий залом, тремя оркестрами и уймой столиков, за которыми сидели, пили, пели, ели, смеялись, ссорились и объяснялись в любви проститутки и сутенеры, художники и нэпманы, налетчики и карманники, бывшие князья и княгини, румяные моряки и студенты. Между столиков сновали ошалевшие от криков, музыки и пестроты лиц, красок и костюмов официанты в

белых кителях и хорошенькие, кокетливые цветочницы, готовые, впрочем, торговать не только фиалками.

«Короли» ленинградского нэпа – всякого рода Кюны, Магиды, Симановы, Сальманы, Крафты, Федоровы обычно кутили в дорогих ресторанах – «Первом товариществе» на Садовой, Федоровском, «Астории» или на «Крыше» «Европейской гостиницы». Летом славился ресторан курзала Сестрорецкого курорта с его огромной открытой, выходящей на море террасой и только входившим тогда в моду джазом. Сюда любили приезжать на машинах ночью, после премьер в «Свободном театре» Утесова, или в мюзик-холле, или в театре комедии, арендованном в порядке частной антрепризы Надеждиным и Грановской – очень талантливыми комедийными актерами, любимцами города.

Здесь, за роскошно сервированными столиками на прохладной от ночного залива мягко освещенной террасе, под тихий рокот прибоя, «короли» завершали миллионные сделки, торговались, вступали в соглашения и коммерческие альянсы и тщательно обсуждали «общую ситуацию», которая, по их мнению, в 1928 году складывалась весьма тревожно.

Самые дальновидные из них начинали понимать, что «временное отступление» подходит к концу и что молодая, но уже окрепшая за эти годы государственная промышленность, кооперация и торговля начинают наступать на частный сектор. Нэпманов особенно беспокоила система налогового обложения их доходов, и они наперебой проклинали начальника налогового управления ленинградского облфинотдела Сергея Степановича Тер-Аванесова, руководившего работой фининспекторов и известного тем, что к нему «подобрать ключи невозможно».

Правда, в самом конце 1927 года прополз слухок, что лакокрасочник Николай Артурович Кюн и шоколадник Альберт Карлович Крафт сумели каким-то загадочным путем добиться благосклонности Тер-Аванесова, но они сами в ответ на вопросы своих знакомых «королей» так горячо и искренне уверяли, что эти слухи – сущий вздор, что им в конце концов поверили.

И вдруг в начале 1928 года начались грозные события: были арестованы в течение одной ночи и Тер-Аванесов, и более десятка фининспекторов, и многие крупные нэпманы, в том числе Крафт и Сальман, Магид и Федоров, и многие, многие другие. По городу поползли слухи, что следственные органы вскрыли многочисленные факты дачи нэпманами взяток фининспекторам за снижение

налогов.

Знаменитый Кюн сбежал в неизвестном направлении. На его фабрику лакокрасок был наложен арест. Чуть ли не в одну ночь с Кюном сбежал и крупный нэпман мебельщик Янаки, грек из Одессы, в руках которого была сосредоточена чуть ли не вся торговля антикварной мебелью.

Вместо арестованных фининспекторов были назначены другие, и подступиться к ним уже было абсолютно невозможно.

«Вечерняя Красная газета», имевшая в те годы широкую подписку в связи с тем, что в качестве приложения к ней печатался сенсационный «дневник фрейлины Вырубовой» – любимицы императрицы и подруги Гришки Распутина, – поместила довольно глухую, но весьма зловещую заметку о том, что следствие по делу группы фининспекторов, незаконно снижавших нэпманам налоги, успешно разворачивается и выясняются все новые лица, причастные к этим преступлениям.

Ночные поездки в Сестрорецк и кутежи в «Астории» и на «Крыше» прекратились. Начали закрываться многие частные магазины и товарищества. Лихачи и владельцы машин с желтым кругом на борту, обозначавшим, что эта машина работает на прокате, простаивали без дела на стоянках – пассажиров почти не было.

«Линия фронта» была явно прорвана во многих направлениях.

Большое групповое дело фининспекторов и нэпманов, получавших и дававших взятки, поступило в мое производство. В этом многотомном деле были десятки эпизодов, тысячи всякого рода документов, много экспертиз. Работать приходилось очень напряженно, и областной прокурор, наблюдавший за следствием, торопил с его окончанием, так как дело привлекало большой общественный интерес.

Существует мнение, столь же распространенное, сколь и ошибочное, что по так называемым хозяйственным и должностным делам следователю редко приходится встречаться с человеческими драмами, психологическими конфликтами и большими чувствами. Это далеко не так.

Конечно, по делам о преступлениях бытовых, вроде убийств на почве ревности, доведения до самоубийства, понуждения к сожительству и т. п., сама «фабула» дела выдвигает перед следователем прежде всего вопросы психологические, связанные с любовью, ревностью, местью, коварством, обманом, насилием над чужой волей и прочим. По таким делам невозможно закончить следствие, не выяснив до конца всей суммы этих вопросов, имеющих первостепенное значение хотя бы потому, что они освещают мотивы совершенного преступления, причины и обстоятельства возникновения преступного умысла и подготовку к его осуществлению.

Конечно, в деле о даче и получении взятки эти вопросы иногда вообще не всплывают, и следствие, прежде всего выяснив самый факт взяточничества, должно ответить на вопрос, за что была дана и получена взятка. Как и в каждом уголовном деле, здесь нельзя ограничиваться признанием обвиняемых, давших и получивших взятку, ибо ставка на признание обвиняемых – как «царицу всех доказательств» – всегда свидетельствует либо о юридической и психологической тупости следователя, либо о его нежелании или неумении справиться со своими обязанностями.

В деле фининспекторов и нэпманов почти все обвиняемые признались. Но это признание надо было объективно проверить и подтвердить документами, фактами, точно установленными цифрами, поскольку речь шла о незаконном снижении налогов. Поэтому буквально по каждому из многочисленных эпизодов дела я считал своим долгом точно установить факт и размеры незаконного снижения налога, как результата данной и полученной взятки.

С другой стороны, меня не меньше занимал вопрос, имевший, как я был убежден, и социально-психологическое значение: как могло случиться, что значительная группа людей, в том числе и коммунистов, поставленных на ответственные участки нашего финансового фронта, встала по существу на путь измены, оказавшись в одних случаях перебежчиками, в других – лазутчиками врага?

Я старался найти ответ на этот вопрос в биографии, характере, условиях жизни каждого из фининспекторов, привлеченных по этому делу. Постепенно выяснилась и эта сторона дела, и вскрылись разные причины, мотивы и обстоятельства – пьянство и моральная неустойчивость, неизбежное сползание на дно на почве бесхарактерности и беспринципности, жадность и стремление к легкой жизни, очень последовательное и тонкое обволакивание со стороны

нэпманов. Один становился взяточником потому, что никогда не имел за душой ни искренних убеждений, ни твердых взглядов, ни веры в дело, которому должен был служить. Другой начал пьянствовать и постепенно, незаметно для самого себя, стал алкоголиком и пропил и свою честь и свою судьбу. Третий, будучи раньше человеком честным, подпал под влияние дурной среды и, начав с мелких подношений и одолжений, которые он принимал от нэпманов, сумевших к нему подойти, потом уже стал матерым взяточником, махнувшим на все рукой по известной формуле «пропади все пропадом». Четвертый, подпав под влияние жены – цепкой и жадной бабенки, неустанно укоряющей за то, что «все люди как люди живут, а я одна, несчастная, мучаюсь – даже котиковой шубки себе справить не могу», – принимал в конце концов эту котиковую шубку от налогоплательщика и уже оказывался у черта в лапах.

Мне запомнился любопытный эпизод по этому делу, когда нэпман Гире, человек очень ловкий и вкрадчивый, сумев всучить котиковую шубку фининспектору Платонову, без ума влюбленному в свою молоденькую, хорошенькую и очень требовательную жену, – потом стал из этого Платонова веревки вить до такой степени, что начал от его имени получать взятки у нэпманов и, присваивая львиную долю себе, заставлял Платонова делать все, что он требовал. Платонов – молодой белокурый голубоглазый человек с добродушным лицом и полногубым, мягко очерченным ртом чувственного и бесхарактерного человека, пытался пару раз взбунтоваться, но Гире, уже считая себя полновластным хозяином этого человека, только выразительно поднимал брови и произносил своим скрипучим голосом неизменную фразу: «Вы, кажется, милейший, начинаете забывать, чем мне обязаны».

Это произносилось в таком открыто угрожающем тоне и сопровождалось таким злым и холодным взглядом, что Платонов начинал что-то лепетать и извиняться, проклиная в глубине души и этого дьявола, и свою хорошенькую жену, и ту страшную котиковую шубку, которая превратила его в раба...

Я хорошо помню, что тогда, как и в последующие годы своей следственной работы, сталкиваясь со многими фактами подчинения слабохарактерных, малоустойчивых, хотя в прошлом и неплохих людей чужой злой и преступной воле, я всегда жалел этих несчастных, хотя они и заслуживали презрения за свою тупую, какую-то скотскую, недостойную человека безропотность, превращавшую их в белых рабов. Безволие – сестра преступления, и как часто мне приходилось наблюдать это зловещее родство!.

Пожары в Саранске

В третьем часу ночи Бочков, сторож столярной мастерской в Саранске, вышел покурить. Апрель был на исходе, но ночь стояла темная, как в сентябре. Бочков жадно затянулся папироской и уже собирался по привычке сплюнуть, как чуть не поперхнулся: из выходящего на двор столярной мастерской окна нарсуда густо валил оранжевый дым, и языки пламени с треском вились по рамам.

Бочков бросился к телефону, и через несколько минут примчались пожарные. Они быстро ликвидировали пожар, и выяснилось, что огонь возник в помещении нарсуда, где на полу оказались сваленные в кучу и облитые керосином судебные дела.

Всего сгорело около сорока дел, но сохранились алфавиты и картотека, и дела нетрудно было восстановить.

Загадочный поджог суда взволновал весь город.

Строились всевозможные версии и предположения. Местные следственные власти решили, что поджог учинен уголовниками не то из мести, не то из понятного стремления уничтожить судебные дела. Эту версию разделял и старший нарсудья Демидов.

На всякий случай арестовали уборщицу нарсуда Гусеву, исполнявшую одновременно обязанности сторожихи.

При этом «мудро» рассудили, что если Гусева и невинна в поджоге, то уж в халатности изобличена безусловно.

Следствие шло, как принято говорить, полным ходом, но события продолжали разворачиваться и через две с лишним недели обернулись совершенно неожиданным образом. В ночь на 16 мая снова подожгли нарсуд, причем принятая на работу после первого поджога сторожиха Стешина оказалась убитой.

И второй пожар был замечен ночью все тем же неугомонным Бочковым. Приехавшие пожарные застали страшную картину полного разгрома суда. На этот раз сгорело около четырехсот дел. Сгорели алфавиты и картотека. Стешину убили в ее комнате, размозжив ей череп.

Оттуда труп волоком тащили в канцелярию (на это указывали следы крови на полу), где его обложили делами, облили керосином и подожгли.

Был сбит со стены и выброшен за окно электрический счетчик. Настенный телефон старательно и искусно подожжен. Из камеры судебного исполнителя была выволочена на двор почему-то хранившаяся там старая перина.

Письменные столы судей Демидова и Палатова взломаны топором.

Словом, была типичная картина разбойничьего налета на суд.

Пять месяцев после этого топтались на месте саранские следственные власти. Сначала было единодушно признано, что поджоги учинены какой-то загадочной бандитской шайкой. Весь вопрос сводился только к тому, чтобы эту шайку изловить. Но это не удавалось. Местный угрозыск переворошил все свои архивы, однако не находил ничего подходящего. Старший следователь прокуратуры Мордовской республики Коннов исписал огромное количество бумаги и передопросил чуть ли не весь город. Но все подозреваемые, как бы сговорившись, представляли неоспоримое алиби.

В середине сентября 1936 года Прокурор СССР предложил мне и работнику МУРа Осипову выехать на место и принять энергичные меры к раскрытию этого дела. В ту же ночь мы выехали в Саранск.

Признаться, мы ехали туда с сомнением в успехе. Очень трудно вести расследование через пять месяцев после совершения преступления, да еще такого специфического, как двойной поджог с убийством. В таких случаях время неизбежно стирает показания «немых свидетелей» и затуманивает впечатления и факты в памяти живых.

Всю дорогу мы перебирали всевозможные дела за последние пятнадцать лет. Вереницы разных преступлений и происшествий, сотни преступных типов и характеров припомнились нам, но аналогий не было. Случай в Саранске был из

ряда вон выходящим.

Ночью мы приехали. Город встретил нас проливным дождем, обрывистыми ямами разрытых улиц и черными провалами окон спящих домов.

В первые же дни нашей работы выяснились очень интересные подробности.

Оказалось, что дела, собранные для сожжения как при первом, так и при втором пожаре, были взяты из разных шкафов, где они хранились. Оказалось, что шкафы с архивными и гражданскими делами вовсе тронуты не были.

Оказалось, что столы судей были взломаны топором, хранившимся за шкафом, и этого никто, кроме работавших в суде, знать не мог. Оказалось, что алфавиты и картотека были взяты из стола секретаря нарсуда и больше ничего оттуда взято не было. Оказалось, что в Саранске не было... бандитских шаяк, и местная уголовная хроника ограничивалась регистрацией скромных домовых краж и не очень значительных хулиганских выходок. Ясно было, что здесь действовали свои, знающие и уверенные руки.

Бывший судья Демидов вошел в комнату, где мы работали, твердыми и спокойными шагами уверенного в себе человека. Высокий, чуть сутуловатый, этот человек молча сел, как бы ожидая вопросов. У него было тусклое, ничего не выражающее лицо, застывшее, как восковая маска, и только веки на этом странном лице беспрерывно и болезненно мигали.

Я не спешил задать ему вопрос и с интересом разглядывал этого человека. Чувствуя мой взгляд, Демидов неожиданно начал зевать, протяжно, чрезмерно протяжно, как бы с удовольствием, потягиваясь и выгибая грудь, запрокинув назад голову... Так сладко и заразительно не зевают у следователя, к которому приходят в первый раз.

– Вы что, не выспались? Тогда можем отложить нашу беседу до другого раза, – сказал я.

Демидов понял, что переборщил, и поспешил заявить, что он готов беседовать и сейчас. Я приступил к допросу.

Демидов начал работать в Саранске с 1934 года.

Странное совпадение: сжигались дела, возникшие с 1934 года.

– Как это объяснить?

– Чисто случайный момент.

– Допустим. Но у меня есть данные, что вы подделывали определения суда об освобождении осужденных.

– Меня удивляет такое заявление.

– Но все же: да или нет?

– Нет. Безусловно.

– Установлено, что за взятку в триста рублей вы изготовили подложные определения по делу Богачева, кулака, осужденного в тысяча девятьсот тридцать четвертом году за хищение зерна к десяти годам.

– Нет, это неправда.

– Это точно установлено.

– Покажите мне определение.

Я предъявляю ему обнаруженное мною в судебном архиве фиктивное определение об освобождении некоего Богачева, написанное Демидовым от имени своего и несуществующих народных заседателей. Он с любопытством рассматривает этот документ и после небольшой паузы, не меняясь ни в тоне, ни в выражении лица, говорит:

– Да, это верно. Я и раньше хотел сказать, но как-то стеснялся, знаете... Действительно, я совершил преступление.

И впервые его тонкие губы раздвигаются в попытке изобразить застенчивую, конфузливую улыбку. Так началось наше знакомство.

Итак, идя методом исключения, мы установили, что поджоги и убийство мог совершить только кто-либо из постоянных посетителей суда. Мы начали проверять в этом направлении одного за другим. Вторым судьей, Палатов, в ночь первого поджога был на выездной сессии в районе.

Почему он поехал на сессию? Оказалось, что его накануне послал туда Демидов, который до этого собирался туда ехать сам. Почему Демидов изменил свое решение?

В начале 1936 года Демидов рассматривал дело по обвинению некоего Галушкина в краже. Галушкин был приговорен к одному году исправительных работ. Вскоре после суда Галушкин дал Демидову триста рублей, за что Демидов в приговоре после заключительных слов «приговаривается к одному году исправработ» приписал всего несколько слов: «условно, с испытательным сроком на один год». Это было грубо сделано. Другими чернилами.

Галушкин весной этого года, сидя в пивной, проговорился о ловкости демидовских рук. И собеседник Галушкина Волков подал об этом письменное заявление в прокуратуру Мордовской республики.

27 апреля в республиканскую прокуратуру затребовали дело Галушкина и обнаружили подлог в приговоре. Вызвали секретаря нарсуда Григорьеву и допросили ее в связи с делом. Демидов в это время был на выездной сессии с прокурором Агаповой и слушал дело о поджоге колхозной конюшни. Вечером 27 апреля Демидов вернулся в Саранск и договорился с Агаповой, что 28 апреля, то есть на следующий день, они опять направятся вместе на выездную сессию в район. 28 апреля Демидов утром пришел в суд.

Григорьева по секрету рассказала ему о ее вызове в прокуратуру республики по делу Галушкина. И Демидов сразу изменил свое решение ехать в район. Он посылает вместо себя судью Палатова. Страх охватывает его. Он знает, что в десятках дел имеются аналогичные подлоги. Это все может всплыть, обнаружиться. И тогда – крах. Что делать? Как быть?

И по еще не исследованному до конца закону ассоциаций Демидову вспоминаются факты, которые он рассматривал накануне. Он слушал дело о поджоге. Он вспоминает все обстоятельства этого дела. Как все это просто, возможно, осуществимо! Поджог – вот оно, нужное слово, нужное действие, единственный выход, единственная возможность спасения!

И в ту же ночь горит нарсуд.

– Скажите, Демидов, почему вы не поехали двадцать восьмого апреля, как собирались, на выездную сессию?

– Судья Палатов не хотел рассматривать назначенное в этот день дело, и потому мне пришлось остаться. Поехал он.

– Палатов это отрицает. Он говорит, что, наоборот, вы не хотели ехать...

– Палатов врет.

– Показания Палатова подтверждает, однако, и Григорьева, также слышавшая, как вы говорили, что не можете поехать потому, что заняты.

– Григорьева путает.

– По словам Григорьевой, она вам двадцать восьмого апреля сообщила, хотя и не имела на это права, что была вызвана в прокуратуру республики по делу Галушкина. Это верно?

– Она мне это сообщила после второго пожара, а не двадцать восьмого апреля.

Мы производим очные ставки. Демидов изобличен.

Выясняется, что еще до первого поджога Демидов уничтожил переписку по судебным делам. Это было перед ревизией. В суде накопилась разная переписка, оставленная без движения. Здесь были заявления, запросы по делам, жалобы. Демидов скрыл эту переписку от ревизии и приказал Григорьевой сжечь ее. Демидов отрицает это. Но Григорьева припоминает, что Гусева тоже видела, как сжигалась переписка. И Гусева это подтверждает. Под тяжестью

очной ставки с Григорьевой и Гусевой Демидов вынужден признаться.

– Да, это было, – медленно цедит он. – Я упустил из виду. Конечно, это – преступление. Я легкомысленно поступил.

И снова на его лице появляется застенчивая улыбка.

Так пошло следствие. Одно за другим раскрывались преступления, которые совершал Демидов. Выяснилось, что он кулак, проникший обманным путем в партию и в судебный аппарат.

Первый пожар был сразу замечен и быстро ликвидирован. Сгорела незначительная часть дел. Надо спешить.

Демидов каждую ночь приходит в суд. Но новая сторожиха Стешина, как назло, не уходит из здания, ночует здесь же. Каждую ночь Демидов приходит в суд и пугает крестьянскую девушку. В три-четыре часа ночи он стучит в ее каморку:

– Ксения, ты еще жива? Тебя еще не убили?

Стешину пугают эти ночные визиты. К ней приезжает повидаться из деревни мать. Дочь рассказывает матери об этом. Она плачет и говорит, что ей страшно, что Демидов ходит неспроста.

Старуха уезжает в деревню. Мог ли Демидов предположить, что устами своей матери будет давать показания по его делу убитая им Стешина?!

Демидов продолжает ходить в суд. Он надеется, что напуганная им Стешина не станет ночевать в суде. Но Стешина боится, что если она уйдет с дежурства, то ей влетит, ее уволят. Ей даже кажется, что строгий судья проверяет, исправна ли по службе новая сторожиха. И она делится своими соображениями, кроме матери, еще и с теткой, о существовании которой Демидов не знал.

И Демидов, наконец, решается. В ночь на 16 мая, приказав жене отправить домработницу ночевать к подруге, он спешит в суд. Он убивает Стешину, сжигает на этот раз все дела, инсценирует картину налета...

Еще до своего ареста Демидов заготавливает письмо в Верховный Суд. Он-то ведь знает, что его должны арестовать! Он пишет. На всякий случай:

«Я незаконно арестован. Я посажен без предъявления обвинения. Меня обвиняют в поджогах, которые совершили бандиты, но которых не могут поймать. Я прошу вашей защиты...»

И он просит жену в случае его ареста отправить это письмо.

Письмо это я обнаруживаю при обыске в квартире Демидова запрятанным в русской печи.

Демидов смущается, когда я предъявляю ему этот документ. Неловко, знаете... И он говорит:

– Да, это моя ошибка.

Верховный Суд Республики приговорил его к расстрелу.

Отец Амвросий

Люди совсем непроницательные думали бы, что пламенные страсти или необычайные случайности бросили этого человека в лоно церкви.

О. Бальзак

Завсегдатаи ленинградского «Сада отдыха» хорошо знали высокую фигуру этого молодого человека, одетого всегда модно, даже с некоторой претенциозностью.

Он неизменно бывал один. Лениво развалившись в креслах эстрадного театра, он небрежно слушал программу, разглядывал публику и имел обыкновение пристально и не мигая смотреть в упор на нравившихся ему женщин.

Шел 1927 год. Весь «цвет» ленинградских нэпманов собирался по вечерам в «Саду отдыха».

По аллеям с важным видом в сопровождении разодетых, раскормленных, на диво выхоленных жен ходили сахарные, шоколадные и мануфактурные «короли».

Все они, неизвестно откуда и как появившиеся в годы нэпа, старательно подражали в своих манерах старому петербургскому «свету», вдребезги разгромленному революцией и гражданской войной.

Вечерами они любили собираться большими и шумными компаниями в модных ресторанах и кабаре, выбирали по карточкам блюда, барственно покрикивали официанту: «Эй, поскорее, отец!», делали замечания почтительно склонившемуся метрдотелю и неистово аплодировали артистам, приглашая их потом к столу и с удовольствием играя роль меценатов.

Пьянея, они начинали безудержно хвастаться своими коммерческими талантами и успехами, любили называть себя «солью земли», и нередко можно было слышать, как какой-нибудь обрюзгший нэпман в седых бобрах презрительно говорил случайному бедно одетому прохожему:

– Не толкайтесь, пожалуйста! Это вам не восемнадцатый год.

К концу программы молодой человек уезжал из «Сада отдыха» во Владимирский клуб. Там его встречали как дорогого и почетного гостя. Поужинав, он переходил в «золотую комнату» и начинал игру. Размеренно и спокойно он ставил крупные суммы под бесстрастные выкрики всегда невозмутимого, корректного крупье.

Обычно молодой человек проигрывал. Но по выражению его лица трудно было определить, каков результат игры. Он не бледнел, не раздражался, не был возбужден.

Уже на рассвете он покидал Владимирский клуб и возвращался домой, в один из переулков Петроградской стороны. Город окутывала бледная мгла рассвета. Мягко цокали копыта лошади по торцовой мостовой. Подъехав к дому, молодой

человек щедро расплачивался с лихачом и проходил к себе. Он жил один в небольшой уютной квартире из двух комнат. Белая визитная карточка была приколотая у звонка. Четкими закругленными буквами на ней было отпечатано:

Сергей Георгиевич

Питиримов

Молодой человек открывал дверь и входил в теплый сумрак передней. Через полуоткрытую дверь лестничной площадки свет пробивался тускло и неуверенно, выхватывая из темноты кусок ковра, ветвистые олени рога, соломенное кресло. Потом дверь захлопывалась. Питиримов проходил в комнаты – небольшую кокетливую спальню с низкой широкой кроватью, похожей на ладью, и полукруглую темную столовую с массивной дубовой мебелью.

Он медленно раздевался, ложился в постель, закуривал папиросу. В квартире было тихо. Огонек папиросы описывал в темноте мерные полукруги от изголовья к пепельнице на ночном столике и обратно. Потом папироса гасилась. И Питиримов засыпал.

Никто не знал, чем он занимается. У Питиримова было много знакомых, но никого он не посвящал в свои дела.

В доме считали, что он биржевой маклер. Близкие ему женщины были уверены, что он крупный инженер-изобретатель. Во Владимирском клубе почтительно подозревали, что он талантливый шулер крупного полета.

Но он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Он даже не был Питиримовым, хотя и носил эту фамилию. Несколько лет тому назад он был «Витькой Интеллигентом» и принимал участие в уличных налетах. Тогда он был еще совсем молод, и ему нравилась эта профессия. Ночью он и его товарищи неожиданно подбегали из-за угла к запоздалому оторопевшему прохожему или влюбленной парочке, привычные руки мгновенно снимали шубы, кольца, часы.

Недоучившийся гимназист Витька Интеллигент происходил из богатой купеческой семьи. Еще юношей он свел знакомство с преступным миром, усвоил

воровской жаргон, посещал притоны. Внешний лоск и некоторая начитанность сначала вызвали там враждебное недоумение, а потом снискали к нему уважение и доброжелательный интерес. И часто где-нибудь в воровском притоне или в курильне опиума Виктор проводил целые ночи в обществе громил, карманников и проституток. Он жадно выслушивал рассказы об их похождениях, при нем происходил дележ «барышей», при нем обсуждались и вырабатывались планы новых ограблений.

Иногда Виктор читал стихи. Мечтательно запрокинув голову, он нараспев читал Гумилева. Читал он хорошо.

Тогда в душной подвальной комнате становилось тихо.

Юркие карманники с Сенного рынка, лихие налетчики из Новой деревни, серьезные, молчаливые «медвежатники» – специалисты по взламыванию несгораемых касс, – их спившиеся, намалеванные подруги жадно внимали певучей, грустной музыке стихов.

Так прошел год. И Виктор задумал новое дело: грабить прохожих не просто, как раньше, а с мистикой, с психологией. Были сшиты белые саваны с черными крестами и маски для лиц.

Ночью Виктор и его товарищи прятались где-нибудь у городского кладбища. Появляется прохожий. Ночь. Тишина.

И вдруг прямо с кладбищенской стены тихо слезает одно, два, три привиденья. Прямо направляются к прохожему.

Сдавленный крик. Обморок.

Дело оказалось прибыльным и верным. Почти всегда обходилось без лишнего шума. Раз только одна женщина, упав на тротуар, так и не встала: разрыв сердца.

Но через несколько месяцев уголовный розыск набрел на след «белых саванов». Трех арестовали. Виктор успел скрыться и уехал в Крым. Там он провел несколько месяцев. Потом он приобрел документы на имя Питиримова и

вернулся в Ленинград. Нэп был в расцвете. Сергей Георгиевич Питиримов снял квартиру, зажил солидно. Он приобрел широкие знакомства, всюду бывал, удачно участвовал в нескольких аферах, посредничал в даче и получении взятки.

Однажды помог реализовать фальшивые червонцы. Но потом испугался и больше не продолжал.

Чем дальше, тем больше приходил он к заключению, что всякая афера, всякое преступление неизбежно приведут в тюрьму. А тюрьмы не хотелось.

Связи со стареющими богатыми женщинами опротивели. Да и молодости прежней уже не было. Надо было найти какой-то иной выход. И этот выход нашелся совершенно случайно.

Это произошло весной. Питиримов как-то поздно засиделся в ресторане со своей дамой. Когда вышли на улицу, было совсем тихо. Белая ночь была призрачна и тревожна. Почему-то хотелось говорить шепотом. Решили пойти пешком.

В одном из переулков, недалеко от центра, Питиримов и его дама услышали доносившееся откуда-то церковное пение. Подошли ближе и остановились у входа в церковь.

Сквозь распахнутые церковные двери тепло мигали восковые свечи, тускло отражаясь в золоте икон.

– Знаете, Сергей Георгиевич, – воскликнула его спутница, – ведь сегодня пасха, заутреню служат!. Ах как интересно, пойдете посмотрим!

Они вошли в церковь. Служба шла чинно, торжественно. У входа какая-то личность бойко торговала церковными свечами. Потом старухи выстроились в очередь святить куличи.

Сергей Георгиевич внимательно следил за происходящим. Он никогда не был верующим. Еще в гимназии на уроках закона божьего он всегда играл в перышки.

Но здесь он с интересом наблюдал. Уже потом, на следствии, Питиримов мне рассказывал:

– Знаете, вот тогда, в церкви, я подумал, что религия – это единственный вид мошенничества, которое может пройти безнаказанно. И потом даже весело: люди, которых ты обманываешь, не только не жалуются, не заявляют в уголовный розыск, не бегут к прокурору, но еще и деньги платят и смотрят на тебя, как на святого... Нет, в самом деле, мне это сразу понравилось.

И после этой пасхальной ночи Сергей Георгиевич добросовестно просидел шесть долгих месяцев над богословскими книгами, евангелием, житиями святых. Он готовился к новой профессии.

У него появились новые и странные знакомые: спившиеся дьяконы, попы-расстриги, бывшие монашки, церковные регенты, игумены и настоятели. Он познакомился с городским духовенством, участвовал в церковных диспутах, добыл себе новые документы об окончании какой-то духовной семинарии.

Так незаметно промчались лето и осень. И уже грянули крещенские морозы, когда на амвоне Павловской церкви впервые появилась высокая, стройная фигура нового священника – отца Амвросия. Бледное лицо, горящие глаза фанатика, взволнованные проповеди быстро создали ему популярность. Истерические прихожанки, кликуши, торговцы с Сенного рынка, вороватые церковные нищие дружно восхваляли на все лады святость, мудрость и прозорливость отца Амвросия. Уже из других церквей приходили смотреть новую знаменитость и слушать его зажигательные проповеди.

Отец Амвросий ликовал. Все больше ему нравилась новая профессия, все щедрее становились даяния верующих.

Он переменил квартиру, по-прежнему жил одиноко.

Иногда он снова надевал штатское платье и ездил встряхнуться. Встречая старых знакомых, он только улыбался в ответ на их расспросы, где пропадает, и скромно отвечал, что ведет теперь замкнутый образ жизни, так как работает над одним серьезным изобретением.

Потом он снова превращался в отца Амвросия.

Прошел еще год. Все более крепла популярность отца Амвросия, непрерывно росли его доходы. И все шло хорошо. Крах пришел, как всегда, неожиданно. Отцу Амвросию понравилась одна совсем еще юная девушка, певшая иногда в церковном хору. Ничего в этом не было необычного, и многочисленные романы отца Амвросия с прихожанками не только сходили гладко, но и в немалой степени способствовали его популярности. Но на этот раз не повезло. Девочка, едва достигшая четырнадцати лет, заупрямилась. Ее упорство еще больше распалило отца Амвросия. И однажды, заманив ее в церковную сторожку, он овладел ею насильно. Девочка вернулась домой в слезах и все рассказала матери. Забыв о боге, религиозная мамаша побежала к прокурору. Началось следствие.

Отца Амвросия арестовали. Он упорно отказывался сообщить данные о своем происхождении, отрицал свою вину, плакал, путался в показаниях.

Через несколько дней после его ареста, когда отца Амвросия вели во дворе дома заключения на прогулку, из окна одной камеры раздались приветственные крики:

– Витька, сукин сын, здорово! Сколько времени не виделись, чертова кукла! Ты чего это в рясу нарядился?

Кричал один из заключенных, бывший грабитель, Митька Косой, когда-то участвовавший в шайке «белых саванов».

И все выяснилось. Страница за страницей была перелистана и прочтена книга жизни отца Амвросия – Сергея Георгиевича Питиримова – «Витьки Интеллигента» – купеческого сына Витеньки Храповицкого.

А в Павловской церкви появился новый священник, щупленький старенький отец Мефодий. И хотя он всегда завидовал успехам отца Амвросия, страшно не любил его и называл раньше не иначе как «Иродовым семенем» и «стрекулистом», но в первой же своей проповеди заявил, печально потряхивая неказистой рыжей бороденкой:

– Братья и сестры во Христе. С тягостной вестью пришел я к вам. Духовный пастырь наш, наш кедр ливанский, отец Амвросий, томится в узилище Иродовом

за веру свою, за благочестие... Аки святой отец, томится он, и несть конца его мучениям за веру Христову! И в том зрим мы для всех благий пример...

Месть

Милиционер, дежуривший в эту ночь на углу Екатерининской площади и 2-го Лаврского переулка, ежился от сырости. Шел непрерывный мелкий дождь. Он царапался о деревья и стены домов, как животное, проникал во все щели. Дул резкий ветер. Лето 1925 года было как никогда дождливое.

Около трех часов ночи мерный шум дождя прорезал протяжный мужской крик. Бросившись на этот крик, милиционер увидел в нише подворотни крупное мужское тело, завернутое в большую простыню. Склонившись, он разглядел лицо неизвестного, который еще слабо дышал, но, видимо, уже потерял сознание. Из перерезанного горла густо шла кровь, она четко выделялась на белой простыне.

Руки и ноги были связаны.

Вскоре примчалась, зловеще поблескивая фарами, карета скорой помощи, а за нею приехали работники угрозыска, дежурный следователь и судебный врач.

Но неизвестный был уже мертв.

Под унылый аккомпанемент дождя мы столпились у трупа и приступили к его осмотру. Покойный был рослым, сильным человеком, лет двадцати восьми – тридцати на вид. На нем были сапоги, синие брюки-галифе, темный френч.

У него было широко перерезано горло. Края раны были ровные, четкие – видимо, было применено достаточно острое орудие, вроде бритвы.

Никаких документов не было. Простыня была широкая, почти новая, из дорогого голландского полотна. В правом ее углу были вышиты инициалы «А. Ф.» Простыня еще сохранила легкий аромат дорогих духов.

В кармане пиджака был золотой хронометр.

На груди убитого была татуировка. Сложный рисунок изображал пронзенное сердце, каких-то зверей, кинжал, женскую головку. Татуировка указывала, что покойный принадлежал к преступному миру. Вызвали дактилоскопа.

Сняв отпечатки пальцев покойного и отправив труп в морг, мы вернулись в угрозыск. Через час дактилоскоп сообщил, что покойный был зарегистрирован в угрозыске и неоднократно задерживался. Он был профессиональный ворушник, Гаврилов Сергей, по кличке «Сережа Цыган». В последний раз был задержан год назад.

Таким образом, личность убитого была установлена.

Мы выяснили также его адрес. Гаврилов проживал в районе Сухаревки. Жил он со старушкой матерью.

Ее вызвали в морг и предъявили труп.

Несчастливая женщина долго не могла прийти в себя.

Наконец, удалось у нее узнать, что сын в этот день был дома и часов в пять ушел.

– Сказал, что к товарищу пойдет, – рассказывала старушка, – а к кому пошел, не знаю. Много у него товарищей было. По правде вам скажу, начальство, другие у него товарищи нынешний год пошли. Остепенился ведь Сереженька. Пить бросил и чужого не брал. Все, бывало, говорит: «Я, мамаша, честно жить решил. Работать буду». Вот, гляди, и зажил.

И старушка опять заплакала.

– А скажите, мамаша, женщины близкой у Сергея не было?

– Была, голубчики, как не быть. Хорошая такая. Марусей звать. На кондитерской фабрике работает. Очень любил ее. Жениться хотел. Из-за нее и остепенился-то он.

Вызвали Марусю. Она сразу рассказала несложную историю своей любви. Они познакомились случайно в кино. Начали встречаться.

– Всё вместе гуляли – нравились друг другу. Сережа тихий был, ласковый. Я его спрашивала, где работает, а он сначала не говорил, только посмеивался. Я и не знала. Раз пошли в кино, а к нему двое подошли и говорят: «Цыган, ты себе новую маруху завел», отвели его в сторону и зашептались. Я как будто почувствовала недоброе, даже в сердце кольнуло. Потом спорить они начали. Сережа, видно, чего-то не хотел, а они требовали. Один из них и закричал: «Помни, Цыган, так это тебе не пройдет, своих продавать думаешь», – и заругался. Пошли мы дальше. Я и спросила Сережу, что за люди, почему ругаются, почему его Цыганом зовут. Он весь бледный стал, даже прослезился и говорит: «Маруся, все скажу тебе, ничего не скрою. Только люби меня. Вор я. И ребята эти воры. Бросил я это дело, а они опять зовут». Как рассказал он мне это, я света не увидела. Вы подумайте только – с вором связалась. Но и бросить его не могла, привыкла очень. Сережа мне поклялся, что будет честно жить, работать начнет. К зиме хотели регистрироваться...

По тому, как девушка все это рассказывала, было видно, что она говорит правду.

«Видимо, – думал я, – Гаврилова убили старые компаньоны. Простыня явно краденая. Отсюда и надо исходить».

На следующий день мы проверили все заявления о домовых кражах. Среди них было заявление артистки оперетты Александры Фаворитовой, у которой до убийства Гаврилова похитили много домашних вещей. Когда Фаворитовой предъявили простыню, она сразу ее опознала.

– Моя, моя! У меня целую дюжину таких украли.

– При каких обстоятельствах вас обокрали?

– Я в театре была, а прислуга ушла в гости. Вернулась я из театра, замок взломан, дверь открыта, все шкафы перерыты.

– Какие вещи у вас украли?

Фаворитова подробно перечислила. Мы записали отличительные признаки ее вещей и дали задание агентам угрозыска следить на рынках и толкучках – не будут ли продавать эти вещи.

На третий день на Сухаревском рынке была задержана женщина, продававшая с рук шесть простынь с такими же инициалами. Женщину доставили в угрозыск.

– Откуда у вас эти простыни?

Немолодая уже, грузная женщина, со следами пьянства на опухшем лице, ответила сиплым голосом, воровато бегая глазами:

– Сама их купила у мужчины на Зацепе.

– Для чего же вы их купили?

– Известно для чего, для продажи.

– Сколько за них платили?

– По два рубля за штуку.

– Цену хорошо помните?

– Как не помнить, когда свои деньги платила.

Мы решили проверить ее показания.

– Человек, который продал вам простыни, уже найден, – сказал я.

В глазах женщины мелькнуло удивление. Но она продолжала молчать.

– Интересуетесь этим человеком?

– Что ж, – ответила женщина, – можно посмотреть.

По моему указанию в комнату ввели под видом арестованного моего практиканта. Указав на него, я сказал:

– Вот он самый и есть.

У женщины, не смогшей скрыть удивления, забежали глаза. Потом она взяла себя в руки и успокоилась.

– Гражданка, у него вы купили простыни?

– Он, он самый. Я его хорошо помню. У него купила.

Мы дружно расхохотались. Обратившись к ней, я сказал:

– Извините, мамаша, вы попались. Мы пошутили с вами. Этот человек простынями не торгует.

Женщина густо покраснела и замолчала. Мы продолжали смеяться.

Когда до сознания женщины, наконец, дошло, что она попалась, она рассказала правду. Простыни эти она купила у своих знакомых воров – Сеньки Голосницкого и Петра Чреватых. Знала она их давно и часто скупала у них краденые вещи.

В тот же вечер я и агенты угрозыска поехали на Домниковку, где в одном из домов жили Голосницкий и Чреватых.

Дом был грязный, запущенный, какого-то дикого рыжего цвета. Нужная нам квартира находилась в полуподвальном этаже. Убедившись, что квартира имеет только один вход, мы по одному, чтобы не быть замеченными, прошли туда.

Дверь открыла худая старуха. Подозрительно глядя на нас, она неприветливо спросила, кого нужно.

– Сенька дома?

– Никого дома нет, – ответила лающим голосом женщина и хотела захлопнуть дверь. Мы остановили ее и, войдя в квартиру, предъявили ордер на обыск. Старуха не удивилась, ничего не сказала и молча села на койку, стоявшую в углу.

В квартире больше никого не было. Мы решили ждать прихода Голосницкого и Чреватых, а пока приступили к обыску.

Квартира состояла из двух комнат и кухни. Низкие потолки, полумрак, спертый, нечистый воздух.

В крайней комнате в мешке были разные домашние вещи: настольные часы, столовое серебро, верхнее мужское платье. Вещей Фаворитовой не было. В кармане плаща, висевшего в углу, мы нашли бритву в футляре и странную записку следующего содержания: «Митьку вчера замели лягавые. Не иначе как Цыган продал. Барахло у китайца».

На бритве не было следов крови. Лезвие было аккуратно вытерто.

Закончив обыск, мы сели и стали молча ждать. Серый осенний вечер уже переходил в ночь. За окном стихал рокот Домниковки, тускло подмигивал уличный фонарь.

Иногда он раскачивался от ветра, и тогда на полу бегали желтоватые блики, похожие на крыс. Настороженно тикали часы.

Старуха сидела в углу молча, почти не дыша, как большая сонная птица. Она ничему не удивлялась и ни о чем не спрашивала.

В первом часу ночи в дверь постучали. Мы открыли, и в комнату вошла молодая, грубо размалеванная женщина.

Увидев нас, она испуганно вскрикнула и хотела уходить.

– Легче, гражданочка, – тихо произнес один из агентов, – не лишайте нас вашего общества. Садитесь и не шухерите...

– Мне некогда сидеть. Я должна идти, у меня свои дела есть.

– К сожалению, придется подождать. У нас тоже дела.

Женщина недовольно вздохнула и села в углу. Опять наступило молчание.

Около трех часов ночи за дверью послышались легкие мужские шаги. Потом раздался стук, и пьяный голос громко произнес:

– Все дрыхнешь, старая ведьма. Отвори! Эй, отвори!

Мы открыли дверь и стали по бокам у входа. Высокий парень вошел в комнату. Его моментально обыскали.

– В чем дело? Что вам надо?

– Как ваша фамилия?

– Голосницкий. А что?

– Ничего, Сеня. А где Петр?

– Какой я вам Сеня! – нагло заявил парень. – Что вы от меня хотите?

– Ничего особенного. Вам привет от Цыгана.

– Никаких цыган я не знаю! – злобно вскричал он. – Говорите, в чем дело?

– Сережу Цыгана не знаете? А про какого Цыгана вам писали? – И я предъявил ему найденную записку. Он испуганно взглянул на нее и угрюмо замолчал.

– Сидите молча. Будем ждать Петьку, – сказал я.

Голосницкий покорно сел.

Через час пришел Петр Чреватых. Он был совершенно пьян, и в таком состоянии было бессмысленно с ним говорить.

Взяв их с собой, мы вернулись в угрозыск.

Голосницкий и Чреватых поняли безвыходность своего положения. И они быстро признали свою вину.

Уже к вечеру следующего дня следствие было в основном закончено.

Сидя у письменного стола, я перелистывал еще невысохшие листы протоколов допроса, перечитывая подробные показания обвиняемых. И вся картина этого преступления во всех его деталях возникла передо мною.

Два года Чреватых, Голосницкий и покойный Гаврилов «работали» вместе. Все трое были профессиональные «домушники» и не думали менять воровскую профессию.

«Работали» довольно успешно.

Но вот еще в прошлом году Цыган начал возбуждать у них тревожные сомнения. Парень перестал пьянствовать, не посещал притонов, неизвестно куда отлучался. Все это было неестественно и непонятно. Наконец, он прямо заявил Голосницкому и Чреватых, что решил «завязать узелок», то есть больше не будет воровать и даже намерен поступить на работу.

– Несчастный фраер, – заявил ему тогда Чреватых, – провались к чертям со своей работой. Противно смотреть на твою глупую рожу, маменькин сынок, юбочный хвост, собачий...

И он еще долго изощрялся.

Самое неожиданное для них было, что Цыган действительно ушел, а уйдя, не думал возвращаться. Через несколько дней бывшие компаньоны встретили его на улице с какой-то миловидной скромной девушкой. Все стало ясно.

– Знаешь, Петух, – мрачно заявил тогда Голосницкий, обращаясь к Чреватым, – эта маленькая телка, за которую он уцепился, страшнее, чем все наши марухи. Цыган не вернется, он конченный человек. Можешь мне поверить, я знаю толк в жизни и в этой... в любви.

И Цыган действительно не вернулся.

А через несколько дней арестовали нескольких знакомых воров. И как-то, когда шумная компания собралась и обсуждала эти события, известный вор Миша Хлястик, враль и выдумщик, каких свет не видел, важно заявил:

– Чижики, я знаю, в чем дело. Цыган нас продает, Цыган стучит в уголовку. Он снюхался с этой кудрявенькой сучкой, а ее брат там служит инспектором.

Наступила мертвая тишина. Польщенный общим вниманием, Миша Хлястик вдохновенно врал, тут же выдумывая самые убедительные подробности. И ему поверили.

А на другой день арестовали еще одного вора: Митеньку Соловья. Это решило все. Чреватых послал об этом записку Голосницкому, уехавшему на день за город. Голосницкий сразу приехал.

На следующий день они поджидали Цыгана у его дома.

В кармане у Голосницкого была бритва.

Вечером Цыган вышел. Приятели подошли к нему и поздоровались.

– Ну, Цыган, – сказал Голосницкий в самом дружеском тоне, – черт с тобой, живи, как хочешь. Но попрощаться со своими стоит. Надо же поставить на прощанье ребятам бутылку водки.

Цыган колебался, но потом согласился. Они пошли в «хазу» около Екатерининской площади, где не раз в прошлом вспрыскивали удачу.

В «хазе» никого не было.

– Ничего, Цыган, – произнес Голосницкий, – скоро наши подойдут, пока начнем сами.

Они начали пить. Цыган пил мало и неохотно, ему хотелось скорей отделаться и уйти. Но время шло, и никто не приходил.

В комнате было накурено и душно. Молчаливый Чреватых мрачно пил водку. Голосницкий старался много говорить. Он вспоминал прошлое.

– Ты помнишь, Цыган, – говорил он, тыкая вилкой в скользкий маринованный гриб, – ты помнишь, Цыган, как мы обчистили эту квартиру в Лялином переулке? Ну, еще собака там была – овчарка. Ты помнишь, как она хватала тебя за ногу, когда мы начали выносить мешок с вещами?

Хорошая была собака, умная. А? Помнишь, сколько серебра мы взяли в квартире старухи на Покровке? Хорошая была старуха, а, Цыган...

Цыган молчал. Может быть, он думал о том, что отошел от этих людей, от этих разговоров, от этой профессии, о том, как хороша теперь его жизнь, когда он уже не вор, когда все это в прошлом, когда он уже не Цыган и не домушник. Он думал о том, что Маруся ждет его в маленькой своей комнатке, что она простила ему прошлое, что у нее такие ясные смеющиеся глаза и маленький рот.

Задумавшись, он почти не слышал слов Голосницкого и удивленно вздрогнул, когда раздался сиплый голос молчавшего все время Чреватых:

– Что ты, Сеня, говоришь, ему ведь теперь не до нас, мы для него рылом не вышли. Они теперь интеллигенция, а мы что? Так... шпана.

– Интеллигенция? – рявкнул Голосницкий, и глаза его налились кровью. – Чистенький стал, сволочь, честненький... А мы ворье, шпана? Ах ты гадина! А Митю продал? Ребят продал? Всех нас, сука, продать хочешь!

И, встав, он вплотную приблизился к Цыгану, продолжая ругать его, страшно уставившись выпуклыми пьяными глазами и размахивая сжатыми кулаками.

– Да что ты на него глядишь? – Чреватых поднялся и, подойдя к Цыгану, необыкновенно быстро и крепко ударил его в лицо. Цыган вскочил, но на него набросились оба, свалили его, и он, падая, увидел, как в дымной угаре накуренной комнаты молнией блеснуло лезвие бритвы, которую выхватил из кармана Голосницкий.

Чужие в тундре

Товарный поезд вышел из Мурманска в первом часу ночи. Стоя в тамбуре заднего вагона, кондуктор Ивановский ежился. Ночь была холодная. Залив и город уже давно остались за поворотом, и поезд пробирался по правому берегу Колы, за которой начиналась пустынная, молчаливая тундра.

Миновали станцию Шонгуй – первую остановку после Мурманска. Когда снова затарахтели колеса и потянулись молчаливые, пустынные пространства, Ивановский тугο набил трубку, присел в тамбуре и закурил. Кольца дыма тепло синели, расходились и таяли в прозрачных сумерках полярной ночи.

Паровоз засвистел – поезд проходил мимо двадцать пятого барака ремонтных рабочих службы пути, одиноко расположенного на перегоне Шонгуй – Кола. Барак стоял на пригорке, над железнодорожным полотном, и Ивановский привычно поднял взгляд вверх, на окна барака, где жили его знакомые. Он взглянул и вздрогнул. В среднем окне было ясно видно чужое, незнакомое мужское лицо.

Неизвестный смотрел на поезд, прижавшись лицом к стеклу, и когда его глаза встретились с взглядом Ивановского, он стал тихо отходить в глубину комбаты, заметно прикрывая лицо рукою.

Ивановскому стало не по себе. Он хорошо знал обитателей барака и ни разу не видел этого человека.

Когда поезд подошел к Коле, Ивановский рассказал о странном человеке дежурному по станции. Сонный, сердитый дежурный неохотно выслушал Ивановского и, сплевывая в сторону, вяло сказал:

– Ну и чертовщина тебе, старому дураку, мерещится?

– Я не баба, чтобы мне мерещилось, – обидчиво ответил Ивановский. – Не первый год по дороге шныряю. Но только попомни, что неладное что-то в двадцать пятом. Ни к чему в такое время там чужому быть.

В это время машинист дал сигнал, и поезд тихо тронулся. Вскочив на ступеньку заднего вагона, Ивановский на прощанье крикнул:

– Смотри, Сергеевич, чую, что неладное у ремонтников!

Но последние слова его были заглушены стуком колес и тарахтением паровоза, развивавшего пары.

Дежурный проводил глазами хвост поезда и, стоя на платформе, оглянулся. Все кругом было знакомо и привычно. Тихо дышала морозная ночь. Вправо от станционного домика спал крохотный деревянный городок Кола.

Городок был древний, еще времен господина великого Новгорода, и, пожалуй, мало изменился с тех пор. Маленькие бревенчатые домики были окружены тыном, наивно торчал деревянный купол покосившейся церквушки.

Влево, за Колу, уходила безбрежная тундра, а впереди тускло поблескивала рельсовая колея.

Ночь была белая, холодная. Это была ночь под первое мая 1930 года.

«Ленинградскому областному прокурору.

Мурманск.

Восьмое мая.

Сего второго мая дорожный мастер Воронин, объезжая участок пути, обнаружил в двадцать пятом бараке перегоне Шонгуй – Кола одиннадцать трупов убитых

рабочих, проживающих в бараке. Все зарублены топором. Четверо из проживавших рабочих исчезли. Прошу немедленно командировать старшего следователя.

Окружной прокурор Денисов».

Прокурор области ходил по кабинету, заложив за спину руки (привычка, приобретенная за годы сидения в царской тюрьме), и говорил мне и старшему помощнику Владимирову, бывшему наборщику, худощавому человеку с близорукими, застенчивыми глазами:

– Шейнину выехать сегодня же. Следствие поведет междуведомственная бригада: наш работник, работник ГПУ, работник угрозыска. Дело тяжелое, а главное, его надо раскрыть как можно скорее, О ходе следствия нужно телеграфировать ежедневно. Делом заинтересовался товарищ Киров, просил информировать его о ходе следствия.

В тот же вечер скорый поезд «Полярная стрела» мчал нас к Мурманску. Кроме меня, выехала группа сотрудников ленинградского транспортного отдела ГПУ.

За Петрозаводском резко изменилась погода. Мы выехали из весеннего, солнечного Ленинграда, где еще не отзвучали майские песни и пляски, а здесь была суровая северная зима. За Кемью и дальше был снег, замерзшие реки, мрачные леса и скалы.

Мурманск тяжело переживал это убийство. Обсуждались и создавались различные предположения и догадки.

Местные следственные власти тоже не пришли к каким-либо определенным выводам. Часть местных работников считала, что убийство совершено теми четырьмя рабочими, которые исчезли из барака.

Кто, когда, почему, при каких обстоятельствах – вот вопросы, волновавшие в те дни Кольский полуостров, Карелию и Ленинград.

В первый же день после приезда был произведен тщательный осмотр места преступления.

Барак, в котором жили убитые, помещался на пригорке, над железнодорожным полотном. Ниже, под насыпью, протекала река Кола, еще стоявшая в это время. Во дворе находились два небольших амбара. Трупы убитых были сложены в этих амбарах: мужчины в одном, женщины в другом. Каждый труп был прикрыт мешком.

Пятна и брызги крови и мозгового вещества на стенках амбара указывали, что умерщвление производилось тут же.

Убивали колуном, которым, судя по повреждениям, наносили, удары по черепу. Были обнаружены трупы рабочих Лещинского, Семенова, Вагина, Соловьева, Новикова и женщин Новиковой и Лещинской. Кроме того, здесь были трупы колониста Заборщикова, его жены, их ребенка и их жилички Зайкиной. Заборщиковы и Зайкина жили на хуторе на расстоянии нескольких километров от барака, и было непонятно, как они тут очутились.

Из живших в бараке рабочих отсутствовали: Суворов Дмитрий, Суворов Василий, Семенов Михаил и Новиков Михаил. Двое последних были родственниками некоторых из убитых.

В комнатах барака следов борьбы и крови не было, если не считать выбитого стекла в одном из окон. На полу был обнаружен бланк анкеты для вступления в ВКП(б), на финском языке. Было странно, как попал этот бланк сюда, где все рабочие были русские.

Как было установлено показаниями родственников убитых, из барака были взяты некоторые предметы домашнего обихода: ножи, чайник, балалайка, котелок, несколько тулупов, шапок и некоторое количество продуктов. Барак стоял одиноко. Кругом на несколько километров не было ни жилья, ни становища. Глухомань. Изредка мимо проходили поезда. И снова наступала сонная зимняя тишина тундры, сурового безлесья, ненаселенных просторов.

Мы молча производили осмотр. Как-то давили эта тишина, эта суровая обстановка, страшное злодеяние, здесь совершенное. Закончив осмотр, мы не пришли к каким-либо определенным выводам. Кроме бланка на финском языке,

никаких следов убийц не было. С другой стороны, была маловероятна версия, что убийцами являются четверо скрывшихся рабочих. Решили осмотреть окрестности барака, и, прежде всего, возник вопрос, где брали рабочие воду. Протоптанная от барака к реке Коле тропинка отвечала на этот вопрос. Мы спустились к реке, и сразу нашли прорубь. Но – странное дело – она была сверху замаскирована снегом и полита водой для обледенения.

Видимо, кто-то умышленно хотел скрыть следы проруби.

Это была важная нить. Тут же, не уезжая из барака, мы вызвали из Мурманского торгового порта водолазов, которые вскоре приехали. Одного из них мы направили для обследования дна. Вскоре он дернул сигнальную веревку.

Оказалось, что подо льдом водолаз нашел четыре мужских трупа, которые и были извлечены из реки. Это оказались трупы четырех «исчезнувших» рабочих, которые были убиты тем же способом, что и остальные рабочие барака.

На голове каждого из них был мешок, надетый вроде капюшона, а к ногам, в качестве груза, привязан метровый отрезок рельса. Стало ясно, что убийцы, для того чтобы направить следствие по ложному пути, спустили четыре трупа под лед, причем, чтобы не испачкать кровью снег по дороге от барака к проруби, завернули их изрубленные головы в мешки.

Но не только трупы были найдены подо льдом. Водолазы извлекли оттуда также серый бушлат и старую шинель кавалерийского образца с пометкой: «Харьков. 1924 г.». Эта шинель имела еще одну странную особенность: вся спина ее была прожжена. Огромная дыра зияла, как черная рана, и края ее были рыжие, обуглившиеся. Видимо, один из убийц был одет в эту шинель, и так как она была слишком «пометлива», он решил от нее избавиться.

А в Мурманске нас ждали любопытные новости: в этот день в местный угрозыск приехали из тундры на собаках два лопаря – Ванюто и Дмитриев, рассказавшие о странном происшествии, которое с ними приключилось второго мая.

Они ехали днем в тундре, направляясь в Кильдинский погост. Привыкшие к безмолвию и пустынности тундры, лопари километрах в пятнадцати от Мурманска почуяли запах дыма; не каждый день в тундре случаются встречи, и лопари повернули на этот запад. Вскоре они подъехали и увидели трех мужчин,

сидевших у разведенного костра.

Неизвестные жарили баранью тушу. По обычаю тундры, лопари подошли к ним и вежливо приветствовали неизвестных, спросив, не нужна ли в чем-либо их помощь.

В ответ неизвестные, выхватив три обреза, навели их на лопарей и приказали ехать к городу Коле. Лопари подчинились, и неизвестные, погрузив свой багаж в сани и связав лопарям руки на спине, решили ехать. Затем они посоветовались между собою и привязали Ванюто к дереву, а Дмитриева заставили ехать с ними в качестве проводника.

По дороге в Колу они встретили двух других лопарей и, сидя в санях, стали играть на балалайках, чтобы не вызвать подозрений. Около города неизвестные вылезли из саней и пошли пешком, а Дмитриева развязали и приказали ему ехать обратно. Дмитриев вернулся в тундру, развязал Ванюто, и они поехали в погост. Через несколько дней, будучи в Мурманске, лопари зашли в угрозыск и рассказали о случившемся.

– Это люди не из тундры, это чужие люди, – уверенно сказали они. – Люди из тундры так не поступают.

«Чужие» люди были значительно западнее, на станции Апатиты, там, где теперь новый социалистический город Хибиногорск. Тогда там только еще начиналась стройка, в которой принимали участие и заключенные.

В тот же вечер один из нашей бригады выехал с прожженной шинелью на станцию Апатиты.

А наутро следующего дня мы получили телеграмму:

«Шинель категорически опознана заключенными Апатитах. Она принадлежит заключенному Мишину-Гурову, осужденному киевским окрсудом на десять лет за бандитизм. Мишин-Гуров бежал совместно с другими заключенными – Грищенко, Мошавцем и Болдашовым – девятнадцатого апреля сего года. Выезжаю Мурманск личными делами, фотографиями всех».

Очередное совещание в вагоне. Дым от бесчисленного количества выкуренных папирос, споры, версии, вопросы, предположения, разгоряченные лица.

Мы уже знаем фамилии убийц. Но где они достали оружие? Где они теперь?

Трупы были обнаружены восьмого мая. Как установлено судебно-медицинской экспертизой, убийство произошло в ночь на первое мая (недаром екнуло сердце старика Ивановского, увидевшего в окне барака чужое лицо!).

Побег совершен девятнадцатого апреля. Где были, чем питались убийцы одиннадцать суток?

Начинаем проверять журнал происшествий, зарегистрированных за эти дни на участке Апатиты – Мурманск. И сразу наталкиваемся на короткую, сухую запись:

«Двадцатого апреля в 12 часов ночи машинистом товарного поезда заявлено, что горит дом колониста Вянске, находящийся в полосе отчуждения, в трех километрах от станции Лопарская. Высланная на место пожарная команда обнаружила пепелище сгоревшего дома и трупы сгоревших жены Вянске и трех ее детей. Сам Вянске находился на лесозаготовках».

Выясняем, что местные власти производили расследование по поводу пожара, пришли к заключению, что он возник «от несчастного случая», и дело «дальнейшим производством» прекратили.

Всей бригадой едем на пепелище и находим: в куче пепла три спиленных дула от винтовок, в несгоревшем сарае – шкуру от освежеванного барана и синие очки.

Вспоминаем о загадочном бланке, найденном в двадцать пятом бараке, и узнаем, что эти бланки могли быть в доме Вянске – члена ВКП(б), бывшего секретаря финской национальной ячейки партии.

И все становится ясным. Бежавшие бандиты забрались в дом Вянске, где удушили жену Вянске и троих детей. Из трех его винтовок (Вянске показал, что у него в доме были три винтовки) сделали три обреза, дом и трупы сожгли,

чтобы уничтожить следы преступления. Запаслись мясом на дорогу и направились дальше, к Мурманску.

В ночь на первое мая бандиты проникли в барак и убили рабочих, выводя по одному в амбар. Это устанавливалось расположением трупов, каждый из которых был переложен старым мешком. В бараке случайно обронили один из бланков, зачем-то захваченных с собою с хутора Вянске.

Весь следующий день мы передавали по телеграфу приметы и фамилии убийц для розыска и задержания.

Вот эти данные:

1. Мишин-Гуров Егор Васильевич, кулак, 1904 года рождения, осужден в 1929 году к 10 годам Киевским окрсудом за вооруженное ограбление.

2. Грищенко Григорий Федорович, 1903 года рождения.

В 1929 году осужден Волынским окрсудом за вооруженное ограбление к расстрелу с заменой 10 годами.

3. Мошавец Захар Иванович, 1904 года рождения, из семьи махновца, осужден в 1929 году Киевским окрсудом за вооруженное ограбление к расстрелу с заменой 10 годами.

4. Болдашов Михаил Григорьевич, 1906 года рождения, кулак, осужден в 1929 году Борисоглебским окрсудом к 10 годам за вооруженное ограбление.

Через три дня пришла телеграмма, что в селе Грузском Киевского округа задержан Мошавец, при котором найдены документы одного из убитых рабочих.

Вслед за этим следственными органами в разных районах Союза были задержаны Мишин-Гуров и Болдашов.

Четвертого из них – Грищенко – задержать не удалось по той простой причине, что он сам был убит своими сообщниками.

Длинный, костлявый Мишин-Гуров, с лицом скопца и тяжелыми, как бы чугунными веками, на допросе рассказал мне:

– А напослед я вам про Грищенку расскажу. Слабого душевного сложения был человек. Сопля, а не бандит.

– Вы скажите, Мишин-Гуров, где он. Подробности потом, – перебил его я.

Мишин-Гуров закурил, мрачно задумался, а потом добавил:

– Когда меня в двадцать девятом году в Киеве в окружном судили за грабежи, я признанья не давал и даже своему защитнику, когда с глазу на глаз говорили, очки втер: дескать, нет, невиновен. Защитник был от казны, толстый такой, с рыжей бороденкой, при золотых часах. И очки носил золотые. Добрый был человек, вполне мне поверил и даже слезу смахнул – расстроился... А на суд вызвали свидетелей, которые мной ограблены были, и те, паразиты, нахально меня уличили.

А один такой злостный попался, что на суде на меня ногой топал, кричал и на вопрос судьи – точно ли меня опознает, – начал креститься и закричал: «Он, он, бандитская морда! Я его, злодея, до смерти не забуду!» Ну, тут мне очень даже стало обидно, что я такого жлоба живым оставил и даже тогда, когда его грабил, пальцем не тронул; и я ему с места крикнул: «Если у вас совесть есть, скажите: хоть одну плеху я вам дал или деликатно обращался?»

Конечно, тут все смеяться стали, потому что этими словами я признанье дал, а этот паразит ответил: «Обращенье действительно было деликатное, но все деньги, часы, чемодан забрал и даже штаны и сапоги снял». С тех пор большое зло у меня против ограбленных. Зарок себе дал – живыми не оставлять, чтобы потом свидетелей не было...

Теперь про Грищенку. Когда мы из лагеря бежали, уговор был: свидетелей не оставлять. В бараке мы всех прикончили – сдержали слово. Ночью в тундре спали, у костра. Во сне Грищенко кричать начал, плакал, бился. Я и Мошавец разбудили Болдашова и смотрели, как парень мечется. А потом я сказал ребятам, что с таким компаньоном пропадешь: или выдаст, или во сне проболтается. Ну...

Тут Мишин-Гуров жадно затянулся папиросой и замолчал.

– Где труп? – коротко спросил я.

– Там же в тундре и зарыли, – так же коротко ответил Мишин-Гуров.

Поезд из Мурманска отходил вечером. Бродя по платформе, мы увидели одного из знакомых лопарей – Ванюто.

Улыбаясь, он подошел к нам и с вежливостью, такой характерной для лопарей, спросил;

– Как с убийцами? Наши лопари очень интересуются. Зачем в тундре такие люди?

Мы поспешили обрадовать Ванюто и сообщили, что убийцы найдены, что они чужие, что они кулацкие выродки и бандиты.

– Мы видели много чужих, – серьезно ответил Ванюто.

– Когда Мурманск захватили белые, мы приезжали на собаках из тундры, чтобы их посмотреть. Мы сразу поняли, что они чужие. Их прогнали, и пришли тоже чужие, но эти чужие были большевики, и они сразу стали своими. Мы, лопари, их знаем и любим. И у нас есть уже свои большевики-лопари. Чужие разные бывают. Но есть чужие – совсем чужие, на всю жизнь. И эти чужие никогда не становятся своими.

Гибель Надежды Спиридоновой

Мавра Тимофеевна накинула на плечи полушубок, взяла ведра и пошла за водой. Деревня просыпалась, кое-где дымили трубы, сонно мычали коровы. Утро было тихое, морозное.

На реке Мавра остановилась у проруби и привычно опустила ведра. В воде ведра за что-то зацепились. Мавра глянула вниз, и у нее потемнело в глазах: в неглубокой проруби торчали пятками вверх босые, толсто налитые фиолетовым воском ноги, напоминавшие чем-то церковные свечи.

Бросив ведра, Мавра с криком побежала назад. Когда собрался народ, из проруби вытащили багром труп женщины, которую все хорошо знали. Это была Надежда Спиридонова – председатель Загубниковского сельсовета. На трупе было платье. Глаза на посиневшем лице были открыты и смотрели на собравшихся пристально и как бы недоуменно.

Труп до приезда милиции положили у проруби. И долго еще не расходилась толпа.

У Надежды не было родных. Никто не бился и не плакал у закоченевшего ее трупа. Но вся деревня молча столпилась у проруби и долго стояла притихшая, задумавшаяся. Потом толпа сдержанно загудела. Вспоминали свою председательшу, ее простые и всегда искренние слова, ее решительность, нелегкую ее вдовью жизнь.

Вечером экстренно заседало бюро Славковского райкома. Секретарь райкома Федотов, старый путиловец, говорил коротко, с трудом сдерживая волнение:

– Спиридонова, товарищи, была из лучших наших активистов. Убийство ее не случайно. Она ведь здорово прижала кулаков, крепко следила за твердозаданцами, позиций не сдавала, не жаловалась, не срачивалась. И ведь росла на глазах. Помните, как выступила на районном съезде? И слова у нее нужные находились, и не стеснялась, как это бывает с нашим женским активом. Убийц надо найти, безоговорочно найти. Распутать надо дело. А как районная милиция думает? А что наш прокурор скажет? Что следствие? Как оно идет?

Начальник районной милиции снял для чего-то и снова надел очки в роговой оправе, странно выглядевшие на его добродушном курносом лице, и сказал:

– Собственно говоря, товарищи, еще мы на след не напали. Есть у нас, правда, ценный человек – некий Иванов. Парень толковый, надежный и сам помочь нам хочет. Он убитой вроде мужа приходится, собственно говоря... Ну, жил с ней. Так вот он говорит, что убийцы не из этой деревни, собственно говоря...

– Товарищ Зуев, – резко перебила его Авдеева, районный прокурор, – что ты на бюро семейную хронику разводишь? Скажи лучше прямо: никаких нитей у тебя нет, одни потемки. Кто убил – не знаешь. За что убил – не знаешь. Когда убил – и этого не знаешь. Еще и вскрытия-то не было, а ты уж в других деревнях убийц ищешь... Не выходит это дело – и всё тут. Теперь о прокуратуре. Я, товарищи, скажу прямо. За следствие не поручусь. Сама я человек в этом деле новый, второй только год как прокурорствую. Следователь тоже только институт кончил, зеленый еще. Можем ли мы поручиться, что раскроем это дело? Прямо скажу – не можем.

– Может, товарищ Авдеева Шерлок Холмса хочет, – язвительно вступил в разговор Зуев, – так он у нас проездом, собственно говоря, не остановился...

Зуева перебили и заговорили все сразу. Наконец, Федотов призвал собравшихся к порядку:

– Спокойнее, товарищи! Авдеева права, признала честно, что не может поручиться за следствие. А ты, Зуев, зря ее лягнул. Предлагаю телеграфировать в Ленинград областному прокурору. Пусть вышлет следователя, да поскорее. Зазорного в этом ничего нет.

Я выехал через Псков в Славковский район. Авдеева меня встретила радостно. Рассказала, что следствие идет пока туго. Арестованы по подозрению в убийстве три человека, все из соседней деревни. Их подозревает некий Иванов, с которым Спиридонова была близка. Прямых улик против них нет. Двое в ночь убийства не ночевали дома, но говорят, что ездили на базар в соседний район, за тридцать километров. Третий – хулиган, имеет две судимости. Мотивы пока неясны. Вообще дело темное.

Начальник районной милиции Зуев был растерян. Он доложил:

– Понимаете, улик мало. Но путаются они во времени. Один говорит, что выехал засветло, другой – что уже луна была. И потом – зачем они в чужой район на базар поехали? Районный наш центр ближе. Ну а третий, собственно говоря, личность известная и отпетая. Без него в районе ни одна поножовщина не проходит. Связан с преступным элементом, собственно говоря, и сам два раза судился.

- А чем доказана связь двух первых с третьим?
- А пока трудно сказать. Но все из одной деревни.
- А мотивы убийства?
- У Спиридоновой пропали полушубок и валенки. Может быть, для грабежа.
- Что же, по-вашему, из-за полушубка и валенок едут убивать в другую деревню?
- Собственно говоря, пока трудно сказать, мы ведь только начали следствие. Да вот во времени путаются. – Давайте поговорим с задержанными.

Мы начали допрос. Два крестьянина, немолодые испуганные люди, действительно давали путанные ответы. Они не могли толком объяснить, зачем поехали в другой район на базар, спорили о часе выезда из деревни. Но именно в этой путанице и была своя, житейская правда. Люди редко дают точные показания, когда речь идет о времени или о зрительных впечатлениях. Поездка на базар тоже не могла служить решающей уликой.

«Известная и отпетая личность», наоборот, держалась спокойно. Молодой еще парень, но с лицом, уже опухшим от пьянства, он довольно бойко отвечал на вопросы.

Парень говорил просто, не задумываясь, отвечал сразу и даже с некоторой веселостью. Не чувствовалось в нем внутреннего напряжения, которое неизбежно бывает при допросе у человека, желающего что-то скрыть и боящегося разоблачения.

Вечером мы собрались у секретаря райкома Федотова. Авдеева молча сидела в стороне, Зув сосредоточенно пыхтел трубкой.

- Ну, каковы ваши первые впечатления? – опросил Федотов.
- Говоря откровенно, не верю я, что убийство совершили те лица, которые задержаны. Да и зачем им было убивать Спиридонову? Улик против них почти нет, а те, которые имеются, явно незначительны, случайны. Мне кажется, что

убийц надо искать в той деревне, где жила и работала Спиридонова. Но кто они – пока сказать нельзя. Завтра поедem на место, попробуем выяснить.

– Вам виднее, – произнес Федотов, – одно для меня ясно: убийство имеет политическую подкладку. Иначе быть не может. Спиридонова слишком активно работала, чтобы не нажить себе врагов среди кулачья.

Было решено утром выехать в Загубниково. Со мной вызвался поехать Зуев. Авдееву решили оставить в районе. Попрощавшись с Федотовым, мы вышли из дома райкома.

Была морозная мартовская ночь. На пустынной улице редко встречались прохожие, снег поскрипывал под ногами, дышалось легко и привольно. Мы шли молча.

Вот убита Спиридонова, думал я. Нет пока никаких нитей для раскрытия дела. Даже нет определенной версии. Примерно только известно, когда и как она была убита. Но кто, зачем и почему это сделал? Спиридонова своей советской работой была ненавистна кулацкой прослойке Загубникова. Но кто из этих кулаков и как организовал убийство? Кулаки сами редко идут на это. Они предпочитают действовать через кого-то, умело направляя со стороны удар, используя личные мотивы, бытовые раздоры, низкий моральный уровень исполнителя, его зависимость и т. п.

Кого в данном случае могли использовать? Спиридонова была одинокой женщиной, но она была близка с Ивановым. Он старательно отводил следствие от своей деревни. Иванов почему-то первый и так настойчиво высказал подозрение относительно задержанных, которые, видимо, невиновны.

Чем больше я обдумывал все детали этого дела, тем чаще всплывал Иванов. У меня смутно, но все более уверенно складывались подозрения о его причастности к убийству. И я решил тщательно проверить в деревне личность и роль этого человека.

Было совсем светло, когда мы подъехали к Загубникову. Деревня была уже на ногах. На наши сани смотрели с нескрываемым любопытством, видимо догадываясь, кто мы и зачем приехали.

Избушка Спиридоновой стояла на откосе, недалеко от проруби. Когда мы осмотрели внутри избу, то не нашли ничего, указывающего на следы борьбы или крови. После осмотра приступили к допросам свидетелей.

Выяснилось, что отношения Спиридоновой и Иванова не были секретом для деревни. Иванов происходил из зажиточной середняцкой семьи.

Тридцатилетний парень, он долго жил в городе и в прошлом году вернулся в Загубниково, где поселился в семье. Вскоре сошелся со Спиридоновой, но продолжал жить дома.

Иванова в деревне не было: он поехал в районный центр.

Мы направились к его избе. По дороге нам встретилась высокая краснощекая девушка с подойником, полным молока. Мы спросили ее, как пройти в избу Иванова.

– Вам, товарищи, Володьку нужно? Так его нет, он уехал. Я сестра его.

– Как вас зовут?

– Маруся. А вам зачем?

– Ну, пойдем в избу, поговорим.

Мы пошли в избу. Никого, кроме Маруси, не было.

Девушка нервно мяла в руках передник и не поднимала глаз.

– Маруся, что вы так волнуетесь? – спросил я. – Мы ведь не кусаемся. Вы расскажите нам, где вещи лежат.

Девушка вздрогнула и испуганно спросила:

– Какие вещи?

Я умышленно свел на нет острый, видимо, для нее вопрос.

– Да брата вашего вещи, полушубок его.

– Полушубок брата, – протянула Маруся и с облегчением вздохнула, – новый полушубок на нем одет, а старый вон в сенях висит.

Было ясно, что девушку испугал вопрос о вещах, но что этот испуг прошел, как только выяснилось, что спрашивают о вещах брата.

Все прояснилось. Мною овладело то особое, радостное и уверенное чувство, знакомое каждому следователю, когда он находит правильный след.

– А почему, Маруся, – продолжал я, – вы даже не спросите, зачем нам полушубок, кто мы, зачем приехали? Маруся опять потупилась и медленно произнесла:

– Знаю. Вы ведь насчет Спиридоновой приехали. А полушубок мало ли зачем; вот он, полушубок-то.

И она охотно пошла в сени за полушубком. Я остановил ее.

– Не надо, Маруся нам полушубка. И вообще нам вещей вашего брата не надо. Другие вещи нам нужны. Спиридоновой вещи. Где они?

Девушка залилась краской, закусилась нижней губой и, запинаясь, произнесла:

– Что вы меня в дело путаете? Мне разве нужны вещи-то? Я тут ни при чем. У меня свои вещи не хуже. Я за брата не в ответе.

Она начала рыдать, выкрикивая отдельные полусвязные фразы, смысл которых сводился к тому, что она невинна в убийстве, но о вещах знает.

Мы стали ее успокаивать. Придя в себя, все еще всхлипывая, Маруся рассказала, что накануне обнаружения трупа Спиридоновой она проснулась поздно ночью и слышала, как пришли с улицы брат и его приятель Сенька Трофимов. Они о чем-то шептались. Девушке стало интересно, и она прислушалась. Говорили о каких-то вещах, где их спрятать. Володька предложил зарыть в овине.

Потом ушли, а через некоторое время вернулся Володька и лег спать.

– Утром, как нашли Надежду в проруби, – продолжала Маруся, – так я догадалась, чье это дело. Побежала в овин, а там Надеждин полушубок и валенки спрятаны. Я вечером и говорю Володьке, а он как закричит, весь красный стал: «Не твое, говорит, дура, это дело! Молчи – и точка, а то я тебе дам путевку на тот свет!»

Вместе с Марусей мы пошли в овин и нашли вещи. Они были зарыты в соломе. К вечеру приехали Иванов и Трофимов. Оба были навеселе. Увидев в избе Зуева, Иванов подошел и бойко заговорил:

– Здравствуйте, начальство. Мы к вам, а вы к нам. Так оно и получается. Я все насчет дела езжу. Так что сведения собираю. Прямо в помощники к вам записался.

Высокий плечистый парень, он прямо смотрел в глаза, широко улыбаясь губастым ртом. От смеха глаза сощурились и бегали, как мышата, юрко и беспокойно.

– Бросьте, Иванов, дурака валять! – перебил его я. – Все уже выяснено. Вы арестованы как убийца Спиридоновой. Извольте рассказывать, кто вас подослал, зачем вы это сделали.

– Меня, – зарычал Иванов, – меня подозреваете?! Я, как собака, все узнаю, помогаю – и меня же за шкуру?! Здорово живешь, дорогие товарищи! Не выйдет это.

Мы молча показали ему вещи. Иванов сразу сник, отвернулся и тихо произнес:

– Признаюсь. Наше дело. Мы убили. По пьяной лавочке. Напоили, как дураков, и послали. Теперь все скажу.

Уже к утру закончился допрос Иванова и Трофимова. Оба признались, что убили Спиридонову. В эту ночь их пригласил к себе загубниковский кулак Заливанов. Немолодой уже, грузный человек, он долго угощал парней водкой и все соболезновал Иванову:

– Выходит, Володенька, связался ты со старой бабой. Ни тебе погулять, ни жениться. Не даст тебе старая ведьма ходу. А ведь парень ты, прямо будем говорить, один на деревне. Любая девка пойдет – не нарадуется. Да и моя Фенька хоть сейчас. А девка-то что груздочек!

Он долго еще говорил. И выходило, что вся жизнь Иванова потеряна и сломана из-за связи со Спиридоновой, которая действительно уже надоела Иванову. Он хмелел, слушая злобные, обжигающие слова, и когда Заливанов заговорил, что «надо убрать Надьку» и все «общество скажет спасибо, хоть и не будет знать, кто убил», он поднялся и вместе с Сенькой пошел к Спиридоновой. Деревня мирно спала. Снег поскрипывал под ногами, и было морозно, но Иванову казалось, что ему жарко, дышал он хрипло и тяжело.

Они долго стучали в дверь. Наконец, разбуженная Надежда подошла и спросила, кто там.

– Открывай, я это.

– Володя! – обрадовано воскликнула Надежда. – Отворю, сейчас отворю. Да ты никак опять пьян-то! Сбился ты, Володя, с пути...

Спиридонова любила Иванова. У нее не было детей, и в отношениях Надежды к Иванову было что-то материнское. Надежда прощала Иванову его пьянство, нередкую грубость, лодырничество. Она понимала, что не пара Иванову, который был значительно моложе ее, и поэтому не настаивала на браке с ним, мирилась, с раздельной жизнью.

Когда Надежда отворила дверь, Иванов и Трофимов вошли в избу. Володька сел на лавку и растерянно замолчал. Сенька выжидательно сопел.

– Володенька, опять-то ты не в себе. Все пьешь, не бросишь. Ведь сколько раз говорили.

– Да брось нудить, старая ведьма, – грубо перебил ее Володька, – надоела ты мне.

И, чувствуя за спиной одобрительное сопение Сеньки, он резко встал, подошел к Надежде и, схватив ее за горло, бросил на лавку и стал душить. Надежда тихо вскрикнула, забилась в его руках, но не могла вырваться. Сенька подбежал и начал помогать Иванову. Они вдвоем навалились на нее, глаза Надежды все шире открывались, она уже хрипела, перестала биться, умолкла.

В избе было тихо, за окном потрескивал разошедшийся мороз.

Явка с повинной

Этот очерк был опубликован в «Известиях» 16 марта 1937 года; события, происшедшие в результате опубликования его, изложены в очерках «Разговор начистоту» и «Крепкое рукопожатие».

Все чаще хроника происшествий лаконически повествует о людях, добровольно являющихся в милицию с повинной.

Люди разных возрастов, профессий и биографий – матерые налетчики с солидным стажем, юркие карманники, растратчики и убийцы, – они рассказывают о своих преступлениях, в которых их никто не изобличил.

Конечно, не все они легко и сразу пришли к решению явиться с повинной. Но все-таки они пришли.

Вот приходит в милицию ювелир, инвалид с деревянной ногой. Он служил на приемочном пункте Торгсина, принимал золото и драгоценности. Несколько лет упорно и ловко он комбинировал, нарочито путал отчетность и воровал. Прошли годы. Уже давно ликвидированы и Торгсин и приемочный пункт, все сошло безнаказанно, злоупотребления даже не были замечены.

И вот ювелир с деревянной ногой появляется однажды вечером в отделении милиции. Сбивчиво и смущенно он рассказывает все. Он отвинчивает свою деревянную ногу и из искусно вделанного в нее тайника высыпает на милицейский стол украденные золото и бриллианты.

Его спрашивают, чем объяснить такое неожиданное признание. Ведь никто не понуждал его к этому.

– Ну, неужели вы не понимаете? Я получил эту деревянную ногу, сражаясь за советскую власть, и было стыдно прятать в ней драгоценности, украденные у советской власти. А, кроме того, не так легко реализовать эти ценности.

Случись это за границей, репортеры гонялись бы за ним с фотоаппаратами, непременно были бы помещены интервью со всеми его родными и знакомыми, – он стал бы сенсацией дня. У нас этот случай никого особенно не удивил.

В 1937 году прокурором СССР было получено письмо из Белоруссии. Некто Ясенко, учитель сельской школы, писал о себе:

«...Я хорошо здесь устроен, и никому в голову не придет мысль в чем-либо меня подозревать. Напротив, меня здесь любят и уважают от души. Но тем хуже для меня, поймите. Вот уже год, как я веду размеренную, честную, трудовую жизнь. Вот уже год, как я здесь, и могу продолжать в таком же духе и дальше. Мне никогда еще не было так хорошо, как теперь. И именно поэтому я пишу вам, товарищ прокурор. Я вовсе не Ясенко и приехал сюда, бежав из места заключения. Когда-то я окончил педтехникум, и это помогло мне устроиться по забытой своей специальности. Конечно, не обошлось без липовых документов. Но теперь я люблю свою педагогическую профессию и готов посвятить ей всю жизнь, за вычетом того, что мне осталось отбывать по приговору. Сообщите, куда и как явиться...»

Через несколько дней автор этого письма был в кабинете прокурора СССР. Просто и застенчиво он рассказал о себе. У него было хорошее молодое лицо и немного грустная улыбка...

– Трудно мне разобраться в своих чувствах, – говорил он. – Но ясно одно возврата к прошлому нет. Я был бандит, налетчик, преступник, но вот один год попробовал жить честно – и теперь уже не могу жить иначе. Но надо быть последовательным, поймите. За мной небольшой должок... Я приговорен за ограбление к пяти годам, а бежал через несколько месяцев после вынесения приговора. И вот решил: сначала расплатиться, чтобы не входить в свою новую

жизнь грязными ногами.

И он подробно рассказал обо всех налетах и грабежах, в которых принимал участие. Он называл годы, месяцы, города и улицы.

Он не любил долго оставаться в одном городе и за несколько лет исколесил огромные пространства.

– Знаете, – говорил он, – когда я приехал в Белоруссию и устроился учителем, то сначала думал, что это будет адски скучно. Я ведь привык менять города и климат, видеть разных людей. Я любил острые ощущения, а здесь школа, дети, кругом тишина, снежные поля, мало народу... Впрочем, я ошибся. Право, мне никогда еще не было так хорошо. Удивительно, но факт. Вот только, улыбнулся Ясенко, – географию было преподавать трудно. Начнешь говорить о Черноморском побережье – лезут в голову налеты, которые там совершил. Рассказываешь о Сибири – вспоминаешь грабеж в Омске...

Его направили для отбытия наказания в одну из трудовых колоний. Он работает там сейчас по специальности, по своей новой и последней специальности. Он – педагог.

Без долгих вступлений и комментариев, в деловом и даже лаконическом тоне начинает Фролов свою «автобиографию»:

«Прокурору Союза ССР.

От рецидивиста Фролова Ивана Михайловича.

Автобиография

...Я, Фролов Иван Михайлович, 1911 года рождения, уроженец города Саратова, прежде всего извещаю вас, прокурор Союза, о себе вещь такую: я в данное время, находясь совершенно без документов и боясь, как бы, попросту говоря, не засадили, решил обратиться к высшей прокурорской организации. Думаю, что прокуратура, а тем более лично вы, обратите особенное внимание, заслушав или прочитав лично заявление от вора-рецидивиста. Думаю, что вы примете те

соответствующие меры и пойдете навстречу, – я не хочу выразиться мне, а вору, который, смотря и судя по новой Конституции, прочитав вашу речь на съезде, заключил, выразиться кратко и просто: крах босякам!

Итак, я начинаю вкратце описывать свою автобиографию, что меня заставило скитаться; и, прочитав мои строки, вы поймете, что меня заставило добровольно взяться за ум и желать честной работы. Как вам известно, я уроженец города Саратова, воспитан чужой грудью – жил у мачехи со своим отцом. Она была простая домохозяйка, а отец был волжский грузчик, который в 1921 году умер от голодовки...»

Дальше в письме рассказывается о беспризорном детстве Фролова, о том, как он начал воровать и получил «в сем деле немалую квалификацию».

«...Я пошел, – пишет Фролов, – по кривой дороге жизни. Ушел на улицу, сошелся с ворами, повел с ними пьяную жизнь. Мне нравилось посещать Сухаревский базар, рестораны и кафе, кино, где всюду требовались деньги. Так прошло полтора года в городе Москве, где я уже нахватался приводов у московского МУРа и получил срок. Теперь я решил обратиться лично к вам и, живя кое-как среди разных теток и дядек, прошу вашей помощи, ту путевку в жизнь, как от Верховной прокуратуры.

Прошу вашего распоряжения и направления в любое местожительство для работы и проведения моей дальнейшей жизни, чтобы быть полезным для советского общества. Жизнь, что я вел, ее я презираю, потому что на факте убедился, как можно хорошо жить, честно трудясь, и быть полезным для общества.

К сему расписываюсь и твердо обещаю.

Иван Фролов».

В конце этого письма Иван Михайлович из скромности или из лукавства не сообщает своего адреса и пишет:

«Прошу на мое данное заявление написать в газете «Известия», какого вы мнения и как вообще поступаете с такими подобными. Главное, через исправительное или можно обойтись без них?..»

По поручению прокурора СССР отвечаю вам, Иван Михайлович Фролов:

«Приходите в Прокуратуру СССР в любой день. С вами подробно поговорят и вам помогут».

Отвечая Ивану Михайловичу, я знаю, что он придет. Он придет потому, что рядом с ним бурлит наша жизнь, все ярче разворачиваются новые человеческие отношения. И это сильнее страха перед возможным наказанием, сильнее навыков и пережитков. Сильнее всего.

Разговор начистоту

Началось это 16 марта.

Ровно в десять часов к дежурному коменданту Прокуратуры СССР подошел быстроглазый молодой парень. Протянув номер «Известий», он спросил коротко и просто:

– Жуликам куда являться?

Комендант удивленно взглянул на пришедшего и спросил:

– Не понимаю, гражданин. Вам, собственно, по какому делу?

– По личному. Прибыл по заметке. С повинной.

Получив, наконец, справку, пришедший отправился на четвертый этаж. Там он внимательно прочел надписи на дверях кабинетов, осмотрелся и сел в приемной на диване. Сотрудница прокуратуры Желтухина спросила его, кого он ждет.

– Я к Шейнину, – спокойно ответил парень, – только разрешите не сразу. Малость обожду. Тут еще должны наши ребята подойти.

– Вы что же, коллективно на прием, что ли?

– Да нет, просто вместе как-то веселей. Вернее, знаете, и спокойней...

И он снова уселся на диван. Через полчаса в приемной появился человек в коричневой тужурке с кошачьим воротником. Оглядевшись, он сел на диван рядом с пришедшим ранее, закурил и, сладко затянувшись, тихо произнес безразличным тоном, как бы ни к кому не обращаясь:

– Ваша «фотография» мне знакома. Если не ошибаюсь, мы вместе сидели в Сиблаге.

Сидевший улыбнулся и ответил:

– Нет, это вам только показалось. – И после некоторой паузы добавил: – Мы с вами сидели в Бамлаге. В Сиблаге я, к сожалению, сидел уже без вас.

Так начался их разговор. Пока они вспоминали «минувшие дни», всевозможные дела и домзаки, пришли еще трое.

И хотя не все знали друг друга, но разговорились быстро и непринужденно, горячо обсуждая волновавший всех вопрос.

– Как пить дать, посадят, – говорил один из них, сутуловатый человек средних лет и унылого вида. – Знаю я эти фокусы. Нас думают поймать, как годовалых ишаков. Слушайте меня, урки, не ходите... Если Турман говорит, он знает, что он говорит.

– Зачем же ты сам пришел, если ты такой умный?

Турман тонко улыбнулся и ответил:

– Меня послали ребята разнюхать, в чем тут дело. Это же прямо смехота, – пишут в газетах и приглашают с визитом. Будто им написал Фролов и будто они ему отвечают. Какой Фролов? Почему Фролов, и кто знает этого Фролова?! Чистая липа, поверьте мне. Но интересно, зачем они все это придумали? Я, например, понятия не имею о Фролове. Если он есть, то почему не пишут кличку...

Между тем приходили всё новые. Безошибочно, одним взглядом определяя «своих», они присоединялись к собравшимся.

Когда их скопилось одиннадцать человек, совещанием завладел высокий, хорошо одетый человек с гладко выбритым лицом и отличными манерами. Чувствовалось, что это мужчина, знающий себе цену и привыкший распоряжаться. Его превосходство единодушно, без лишних слов было сразу же признано всеми. Звали его Костя Граф.

– Довольно трепаться, – говорил он, – и давайте говорить как деловые люди. Мы не маленькие, и нечего разводить философию. В чем дело, я не понимаю. У каждого из вас я вижу «Известия» и желаю отметить, что у всех почему-то за вчерашнее число. Любопытная случайность, детки. Все ясно. Есть Фролов или его нет, мне на это наплевать. Пусть нет. Но Турман, но Таракан, но Король, но Цыганка, но я, но все вы – мы есть или нас тоже нет? Мы есть. Так в чем же дело? Турман не верит – всего хорошего и счастливого пути. А я верю. Я иду. Иду на риск? Правильно. Но чем мы особенно рискуем, пупсики? Пусть делают с нами, что хотят. Пора кончать. Посадят – хорошо, не посадят – еще лучше. В обоих случаях я завязал узелок. Я кончил игру. Я пришел к финишу. Довольно. Верно я говорю или нет?

– Верно, верно, Граф, – ответили все разом. И даже унылый Турман произнес:

– Ну, я – как все. Если идут все, так я тоже иду...

Через час мы были уже знакомы. Вся компания сидела в моем кабинете, и каждый по очереди рассказывал о себе.

– Я домушник, – говорил Таракан, – и ворую восемь лет. Имею судимости, много приводов. Я «бегал» и «по домовой» и «по очковой». Все видел, все перепробовал. В Москве нюхал кокаин, в Бухаре пробовал кирьяк и анаш, во Владивостоке курил опиум. Я сидел и гулял. Я умирал с голода и кутил, как пижон. И вот уже год, как я начал тосковать. Кругом люди как люди: работают, живут, женятся, имеют детей и квалификацию. Чем я хуже? Я тоже хочу жить, как все. Не буду врать, – воровал и последний год. Третьего дня украл кожаное пальто в МГУ. И точка. Поверьте мне, я не кручу. Если можно, очень прошу – не сажайте. Дайте город, документ, работу. Увидите, я буду честным человеком.

Тут Таракан задумался, немного помолчал и неожиданно добавил, застенчиво покраснев;

– Очень счастья хочется. Жулики счастливо не живут, это уж точно я вам скажу. Раз только я счастлив был, да и то во сне.

– Что же это был за сон?

Таракан мечтательно улыбнулся и рассказал:

– Снилось мне как-то, что я еще совсем молодой, но уже очень деловой вор. И вот весна, чудная погода, солнышко, цветы и всякая такая карусель. И я иду прямо с дела с большим узлом, днем, по Столешникову переулку. Масса народу, девушки улыбаются. На углу Столешникова и Петровки стоит милиционер, обыкновенный милиционер, в белых перчатках. А прямо против него большой магазин с шикарной вывеской: «Мосторг. Скупка краденого». Понимаете, какая красота? И я вполне официально прохожу с узлом, мимо милиционера, в магазин, где меня встречает сам заведующий, любезно у меня все барахло принимает по таксе и так вежливо говорит:

«Что так редко бывать стали? Эдак я план не выполню...»

Цыганка, молодая, чисто одетая воровка с озорными глазами, рассказала о себе. Она родом из Одессы. Ворует с четырнадцати лет. В Одессе у нее дочь, которая живет у сестры. Муж ее тоже вор. Пришла она одна.

– Муж ожидает в Серпухове результат, – сообщила Цыганка. – Боится, что будут сажать. Меня послал для испытания – нет ли обмана. Тебе, говорит, как

женщине, в случае чего будет снисхождение – меньше дадут, а я буду на передачи «подрабатывать». Ну, а если без обмана, сразу давай телеграмму, тоже приеду...

Карманник Волчок, шустрый, смеющийся парнишка, вполне оправдывающий по внешности свою кличку, протянул, улыбаясь, исписанный лист бумаги, сказав:

– Вот – тут я все сочинил, написал, что есть. Прочтите. Я потом добавлю. Вот что он написал:

«Дни преступной жизни.

В 1931 году я окончил семилетку, будучи еще молодым человеком пятнадцати лет. Никакой специальности не имел. После смерти отца, в 1932 году, почувствовал, что надо жить самостоятельно. Познакомился с «хорошими» товарищами, которые стали всасывать в свою гнилую среду и приучать к преступной жизни, как-то: воровать, играть в карты и пьянствовать.

Спустя три года моей воровской жизни, как говорится на воровском языке, я «подзашился» и получил срок. Отбыл срок в сентябре 1936 года и поставил перед собою задачу – бросить свою воровскую специальность и стать человеком, полезным для нашей родины. Но как я ни старался стать полезным гражданином, у меня, к сожалению, ничего пока не получалось. Сейчас получится обязательно, в чем даю честное слово, и буду дышать тем воздухом, которым дышат все граждане нашей страны социализма. Не хочу быть больше сорняком на урожайном поле нашей родины. Волчок. Прошу фамилию не опубликовывать, потому что есть невеста, которая не должна знать, кем я был. Пусть узнает после, когда все это будет в прошлом».

Костя Граф рассказывал о себе солидно, не торопясь и не вдаваясь в сентиментальности. Разговор его носил сугубо деловой характер:

– Я уже не молод, – говорил он, – мне тридцать восемь лет, и за свою жизнь я перевидал столько, что этим чижикам и во сне не приснится. У меня, знаете, специальность настоящая и деликатная. Нас остались единицы. Я работал «на

малинку» в экспрессе Москва – Маньчжурия. Партнерша у меня красавица, каких свет не видел, – Ванда, шикарная дама в котиковом манто. Хотя я вижу хорошо, но в поезде всегда был в роговых очках для солидности и имел вполне основательную внешность. Конечно, мы с Вандой ездили только в международном вагоне. Конечно, ездили, делая вид, что не знаем друг друга. И вот за ней начинал ухаживать какой-нибудь солидный пижон. В дороге, знаете, всегда начинают ухаживать. Ванда ухаживания принимала. Потом они пили чай или в ресторане пили вино за ужином. Она подсыпала в стакан снотворное, а когда пижон засыпал, то мы брали его вещи и сматывались на первой станции. Ясно? Но вот уже два года, как работать по прямой моей специальности почти невозможно. Аккредитивы портят все дело, и никто в дорогу не берет с собой наличных денег. Менять квалификацию на старости лет (хотя я не так уж стар) нет смысла и желания. И, наконец, скажу вам прямо: надоела вся эта волынка. Конечно, и в последнее время за мной есть кое-какие делишки, не буду скромничать и прикидываться дурачком.

И вот сейчас я пришел заявить вам об этом и не рассчитываю, что получу за это премию. У меня есть еще одна побочная специальность. Я – отличный топограф. Пожалуйста, пошлите меня в экспедицию и, если можно, куда-нибудь подальше. Остаться в Москве пока боюсь: могу не выдержать, и засосет опять. Если поможете, уеду в экспедицию, пробуду пару лет, закалюсь и, когда почувствую, что уверен в себе, вернусь в Москву. Всё.

В таком же духе рассказывали остальные. Когда все они были опрошены, их принял т. Вышинский.

Все просили направления на работу в разные города по разным специальностям. Им это было обещано.

Ночью в «Известиях» происходило не совсем обычное собрание. Все рецидивисты, явившиеся днем в прокуратуру, ночью пришли в редакцию. Впрочем, не только все. По дороге они обрастали, как снежный ком, и потому в редакцию их явилось уже больше, чем в прокуратуру.

При этом произошло маленькое недоразумение. Сначала условились собраться в редакции к семи часам вечера. Затем выяснилось, что в редакции их смогут принять только в одиннадцать часов. Многие испугались, заподозрив, что тут готовится какая-то ловушка.

Костя Граф позвонил мне по телефону и рассказал об этом.

– Скажите прямо, – говорил он, – будут забирать или нет? Я и многие другие все равно придем, но некоторые ребята сомневаются. Могу ли я дать им честное слово, что им ничто не угрожает?

Я его заверил, что такое слово он дать может. Пришли все. В редакции, успокоившись и убедившись, что «забирать не будут», они еще более разоткровенничались. Некий «Король» рассказал, что он, собственно, присутствует в качестве «делегата» от небольшой, но теплой компании карманников, которая, посоветовавшись, направила его в прокуратуру посмотреть, что из этого выйдет.

– Зорко ребята следят за результатом, – говорил он, – а завтра уж, наверно, все явятся. И в самом деле, выхода другого нету. И жить хочется, как всем людям, и угрозыск покою не дает. Больно тонко работать агенты начали.

Потом началось совещание. Прокурор Союза и редакция «Известий» руководили этим своеобразным заседанием.

Разговор шел начистоту. Прокурор Союза откровенно заявил, что закон есть закон и что явка с повинной еще не влечет за собой полной индульгенции.

– Вы пришли добровольно, – все же сказал он. – Никого из вас, явившихся сейчас с повинной, мы не будем привлекать к ответственности, поможем вам устроиться на работу, дадим возможность по-настоящему начать новую жизнь. Не все сразу дастся вам легко, – не рассчитывайте на это. Будут, конечно, и трудности и колебания. Но мы надеемся, что вы выполните свое обещание. От вас зависит ваше будущее, и я думаю, что оно будет счастливым.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

21 августа 1920 года Положениями о местных органах юстиции и о народном суде РСФСР от 20 октября того же года учреждаются должности народных следователей, состоящих при советах народных судей, а также следователей по важнейшим делам при губернских отделах и Наркомате юстиции.

Народный следователь мог приступить к производству расследования по заявлениям граждан, сообщениям милиции, должностных лиц и учреждений, по постановлению судьи, а также по своему усмотрению. Окончательное решение о прекращении дела или предании суду принадлежало народному суду – Прим. ред.

2

Речь идет о сборнике «Старый знакомый», который был издан в 1957 году и специально для которого был написан «Рассказ о себе» – Прим. ред.

3

Владимирский игорный клуб (проспект С. М. Нахимсона (сейчас Владимирский проспект д. 12). был самым роскошным и известным храмом азарта в городе. Он размещался в так называемом «Доме Корсаковых», где с 1860 г. находился Купеческий клуб.

Как писал журналист Н.П. Полетика: «В дни получек жены рабочих дежурили у пивных, стараясь отобрать у мужей хоть часть получки, жены служащих

собирались у Владимирского клуба. Всезнающие репортеры «Ленинградской правды» и «Красной газеты» говорили, что за каждым крупным кассиром установлено наблюдение уголовного розыска и о каждом крупном проигрыше агенты розыска, сидевшие в качестве «игроков» в игорных залах, сообщают начальникам учреждений и предприятий для проведения внезапной ревизии кассы» – Прим. ред.

Купить: https://tellnovel.com/sheynin_lev/zapiski-sledovatelya

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)